

Б. М. МАРКЕВИЧ



ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
НАЗАД
—♦—
ПЕРЕЛОМ
—♦—
БЕЗДНА



Литературные памятники (Наука)

Болеслав Маркевич

Четверть века назад. Книга 1

«Наука»

1879

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

Маркевич Б. М.

Четверть века назад. Книга 1 / Б. М. Маркевич — «Наука»,
1879 — (Литературные памятники (Наука))

ISBN 978-5-02-040272-0

После векового отсутствия Болеслава Михайловича Маркевича (1822—1884) в русской литературе публикуется его знаменитая в 1870—1880-е годы романная трилогия «Четверть века назад», «Перелом», «Бездна». Она стала единственным в своем роде эпическим свидетельством о начинающемся упадке имперской России — свидетельством тем более достоверным, что Маркевич, как никто другой из писателей, непосредственно знал деятелей и все обстоятельства той эпохи и предвидел ее трагическое завершение в XX веке. Происходивший из старинного шляхетского рода, он, благодаря глубокому уму и талантам, был своим человеком в ближнем окружении императрицы Марии Александровны, был вхож в правительственные круги и высший свет Петербурга. И поэтому петербургский свет, поместное дворянство, чиновники и обыватели изображаются Маркевичем с реалистической, подчас с документально-очерковой достоверностью в многообразии лиц и обстановки. В его персонажах читатели легко узнавали реальные политические фигуры пореформенной России, угадывали прототипы лиц из столичной аристократии, из литературной и театральной среды — что придавало его романам не только популярность, но отчасти и скандальную известность. Картины уходящей жизни дворянства омрачаются в трилогии сюжетами вторжения в общество и государственное управление разрушительных сил, противостоять которым власть в то время была не способна.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-02-040272-0

© Маркевич Б. М., 1879

© Наука, 1879

Содержание

Четверть века назад. Правдивая история (Памяти графа Алексея Толстого)	7
Часть первая	7
I	7
II	13
III	17
IV	20
V	24
VI	28
VII	32
VIII	35
IX	37
X	41
XI	44
XII	49
XIII	51
XIV	54
XV	57
XVI	61
XVII	65
XVIII	67
XIX	69
XX	75
XXI	79
XXII	87
XXIII	94
XXIV	96
XXV	99
XXVI	101
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Болеслав Маркевич

Четверть века назад. Книга 1

© В. А. Котельников, составление, подготовка текстов, статья, примечания, 2025

© Российская академия наук и издательство «Наука», серия «Литературные памятники» (разработка, оформление), 1948 (год основания), 2025

© ФГБУ Издательство «Наука», редакционно-издательское оформление, 2025

* * *



Б. М. Маркевич. Гравюра А. Зубова. 1878 г.

Четверть века назад. Правдивая история (Памяти графа Алексея Толстого)

Часть первая

*Увы, где розы те, которые такой
Веселой радостью и свежестью дышали?
Фет¹.*

*А тот, кому я в дружеской встрече
Страницы первые читал —
Того уж нет...²*

I

Светлым вечером в начале мая 1850-го года дорожная коляска катилась по шоссе по направлению от Москвы к одному из ближайших к ней губернских городов. В коляске, с слугою на козлах, сидели два молодые человека 23–24-х лет, два приятеля, – и вели между собою оживленный разговор:

– Бог знает, что ты со мною делаешь, Ашанин, – говорил полузабоченно, полуусмехаясь, один из них, светловолосый, с нежным цветом кожи и большими серыми, красивого очерка глазами.

Тот, к которому относились эти слова, был то, что называется *писанный* красавец, черноглазый и чернокудрый, с каким-то победным и вместе с тем лукавым выражением лица, слышавший в то время в Москве неотразимым Дон-Жуаном.

– А что я с тобою, с казанским сиротою, делаю? – передразнивая приятеля, весело рассмеялся он.

– Ну, с какой стати еду я с тобою в Сицкое, к людям, о которых я понятия не имею?

– Во-первых, ты едешь не в Сицкое, а куда тебе следует, – то есть в Сашино, к себе домой, к милейшей тетушке твоей Софье Ивановне, а в Сицкое ты только *заезжаешь* из дружеской услуги – меня довезти. Во-вторых, сам ты говоришь, – ты князя Лариона Васильевича Шастунова знаешь с детства.

Белокурый молодой человек – звали его Гундурым – качнул головой:

– Знаю!.. Десять лет тому назад, когда я мальчишкою из дворянского института приезжал на каникулы в Сашино, я его два-три раза видел у тетушки. Важное знакомство!

– Все одно, он с Софьей Ивановной давно и хорошо знаком, а тебя он теперь по твоей университетской репутации знает... Да и я мало ли про тебя всем им говорил зимою!.. Ручаюсь тебе, что примет он вашу милость наилюбезнейшим образом: он вообще благоволит к молодым людям, а тебя тем более оценит по первому же разговору.

– Если бы мы еще к нему собственно ехали, – молвил Гундуров, – так и быть!.. А то ведь он и сам гостит в Сицком. Оно ведь не его?..

– А невестки его, княгини Аглаи Константиновны, – знаю. А князь Ларион – брат ее мужа и опекун ее детей, следовательно, не гостит, а живет по праву в Сицком... А там театр, во всей форме театр, с ложами, говорят, и с помещением человек на четыреста, и княжна

Лина, восхитительнейшая Офелия, какую себе может только представить самое пламенное воображение! – горячо расходился чернокудрый красавец.

Приятель его рассмеялся.

– Ну, поскакал теперь на своем коньке! – сказал он.

– И ни чуточки!.. ты знаешь, барышни не по моей части, – это раз, а затем, княжна Лина одно из тех созданий, – есть такие! (какая-то серьезная, чуть не грустная нота зазвучала в голосе Ашанина), – к которому ты с нечистым помыслом и подойти не решишься... и наш брат, отпетый ходок, чует это вернее, чем все вы, *непорочные*, взятые вместе! Я на нее поэтому вовсе не смотрю как на женщину, а, говорю тебе, единственно как на *Офелию*...

– И с талантом она, ты думаешь? – спросил Гундуrow, невольно увлекаясь.

– Не сомневаюсь, хотя она, как говорила, всего раз играла за границей, в какой-то французской пьесе. Она не может не быть талантлива!

Белокурый молодой человек задумался.

– Воля твоя, любезный друг, – заговорил он нерешительно, – а, согласишься ты с этим, очень неловко выходит, что я у совершенно незнакомых мне людей стану вдруг ломаться на сцене?..

– Ломаться! – негодующим кликом воскликнул Ашанин, – играть *Гамлета* значит у тебя теперь *ломаться*!.. Это что же, ты из петербургской твоей жизни почерпнул?.. Где же эта горячая любовь к искусству, о которой ты нам постоянно проповедывал? Разве ты не помнишь, как мы с тобою читали Шекспира, как ты не раз говорил мне и Вальковскому, что, если бы не твои занятия, университет, не кафедра, к которой ты готовился, ты бы почел себя счастливым сыграть роль *Гамлета*, что это было бы для тебя величайшим наслаждением!

– Я и теперь так думаю! – вырвалось у Гундуrow.

– Так из-за чего же ты теперь ломаешься?.. Да, – засмеялся Ашанин, – *ломанье-то* выходит у тебя *теперь*, а не когда ты выйдешь на сцену!.. И какой еще тебе может лучший случай представиться? Далеко от Москвы, никому неведомо, в порядочном обществе... Кафедра, – ты сам говорил, что после того, как тебе отказали в заграничном паспорте, о ней пока думать нечего!.. Что же, ты киснуть теперь станешь, болеть, самоглотать себя будешь?.. Ведь жить надо, Сережа, просто *жить*, жи-и-ть! – протянул он, схватывая приятеля за руку, и, наклонившись к нему, ласково и заботливо глянул ему в лицо.

Гундуrow пожал его руку и замолчал: он не находил внутри себя ответа на доводы Ашанина.

Он только накануне вечером вернулся из Петербурга, где провел всю зиму и откуда наконец бежал под гнетущим впечатлением испытанных им там недочетов. Вот что с ним было.

Окончив за год перед тем в Москве блистательным образом курс по филологическому факультету, Гундуrow, которого университет имел в виду для занятия должности адъюнкта по кафедре славянской филологии, отправился на берега Невы добывать себе заграничный паспорт «в Австрию и Турцию, для изучения» – так наивно прописано было в поданной им о том просьбе – «истории и быта славянских племен». Об этом путешествии, на которое он полагал посвятить три года, он мечтал во все время пребывания своего в университете; «без этого, без живого изучения на месте славянских языков, без личного знакомства с Ганкою, с Шафариком³, с апостолами славянского возрождения, какой я славист, какой я буду профессор!» – основательно рассуждал он... К ужасу его, после нескольких недель ожидания, он был вызван в паспортную экспедицию, где поданная им просьба была возвращена ему в копии, с копиею же на ней следующей резолюции: «Славянский *быт*» — слово это было подчеркнуто, – «можно изучать от Петербурга до Камчатки»... Гундуrow ничего не понял и страшно взволновался; он кинулся ко всем, кого только мало-мальски знал в Петербурге, жаловался, объяснялся, просил... У него был дядя, занимавший довольно видное место в тогдашней администрации; этот достойный сановник пришел, в свою очередь, в ужас, частью от того, что племянник его «губит себя в конец», еще более вследствие такого соображения, что и сам он, Петр Иванович Осьми-

градский, тайный советник и директор департамента, может быть, пожалуй, компрометирован, если узнают, что у него есть близкий родственник с таким опасным образом мыслей. – «И в чью голову ты гнешь, какую стену думаешь ты прошибить? – укорял и наставлял он Гундунова. – Сам же себе дело напортил, а теперь думаешь криком поправить! В просьбу, в официальную просьбу вернул „*быт*“ какой-то дурацкий! Какой там *быт* в Турции, и кто в *Турцию* ездит путешествовать? Понимаешь ли ты, *как* это могло быть понято?!» Бедный молодой человек совершенно растерялся, – дядя мрачно намекнул ему даже на какую-то черную книгу, в которую он «за неводержимость языка» будто уже успел попасть, благодаря чему ученая карьера навсегда-де для него закрыта. «И ведь нашел же время о какой-то своей *славянской* науке говорить, – рассуждал Петр Иванович, – когда еще недавно мятежники-венгерцы своего законного государя чуть с престола не ссадили!»⁴

– То венгерцы, – пробовал возражать Гундунов, – а славяне спасли и престол, и династию Габсбургов...⁵

Но Петр Иванович только руками махал. «Поступай ты сюда на службу, – это твое единственное спасение!..» Увы, все то, что ни видел, ни слышал Гундунов в Петербурге, служило ему лишь роковым, неотразимым подтверждением доводов дяди. «Какая, действительно, нужна *им*, а для нас какая возможна наука теперь?» – говорил он себе. Он вспоминал Москву, Грановского⁶, лучших тогдашних людей – «разве они не в опале, не под надзором, не заподозрены Бог знает в чем?..» Что же, однако, было делать ему с собою? С отчаяния, и поддаваясь внушениям дяди, он поступил на службу. Но он чуть не задохся в невыносимой для него, свежего студента и москвича, духоте петербургской канцелярии: и люди, и то, что они делали там, было для него глубоко, болезненно ненавистно; его тошнило от одного вида синих обложек *дел*, из которых поручалось ему составить *справку*; ему до злости противны были желтый рот и обглоданные ногти поручавшего ему составлять эти *справки* Владимира Егоровича Красноглазова, его ближайшего начальника... Не прошло шести месяцев, и Гундунов, добыв себе свидетельство о болезни, подал в отставку и уехал в Москву...

Тетки его не было в городе, – она еще в апреле-месяце уехала в деревню. Ему нетерпеливо хотелось увидеть ее, и он тотчас же собрался ехать в Шашино, не повидавшись ни с кем из московских знакомых. Только Ашанин, его пансионский товарищ и большой приятель, прискакал к нему, узнав случайно о его приезде.

Ашанин, когда-то многообещавший юноша, поступил в университет из дворянского института одновременно с Гундуновым, но на первом же курсе вышел из него, чтобы жениться на какой-то перезрелой деве, которая влюбила его в себя тем выражением, с каким пела она варламовские романсы, а через два года ревнивых слез и супружеских бурь отошла в вечность, оставив его двадцатилетним вдовцом и копителем неба. Добрейший сердцем и вечно увлекающийся, он жил теперь в Москве, ничего не делая, или, вернее, делая много долгов, в ожидании какого-то никак не дававшегося ему наследства, вечно томясь своим бездействием и вечно не находя для себя никакого занятия, и все время, остававшееся от бесчисленных любовных походов, отдавал театру и любительским спектаклям, в которых неизменно держал амплуа первого любовника.

Эта страсть еще более, чем пансионская дружба, служила связью между им и Гундуновым. Не менее пылко любил и молодой славист драматическое искусство, но разумея его и выше, и глубже, и строже, чем это делал Ашанин, ценивший театральные произведения прежде всего со стороны их сценической удобоисполняемости. Серьезные, поглощавшие почти все его время в университете занятия по его специальности и боязнь повредить *скоморошеством* своей молодой ученой репутации заставляли его налагать строгую узду на свои собственные театральные хотения; но он понимал Ашанина, он не раз завидовал ему, его «безалаберной свободе», при которой он, Гундунов, «если бы был на его месте, непременно поставил бы на сцену

шиллеровского *Валленштейна*, шекспировские драмы!...» Ашанин, с своей стороны, находил в этой любви Гундунова к театру как бы оправдание себе и серьезно иной раз, после беседы с ним, возводил в собственных глазах свои упражнения *первого любовника* на степень действительного *дела*. Он при этом был самого высокого понятия о способностях, об образованности Гундунова, глубоко уважал его мнение и любил его от всей души.

Он тотчас же со врожденною ему сообразительностью понял, что этот отказ Гундунову в дозволении ехать за границу, неудавшаяся его попытка найти себе другое дело, что весь этот разгром его лучших, чистых, законных желаний припирает приятеля его к стене, оставлял его без выхода, – но что теперь, сейчас, «ничего с этим не поделаешь, никакой *изводящей* звездочки на небе не вымотришь». *Теперь* представлялась одна задача: не дать об этом пока думать Гундунову, вызвать его на время из-под гнета впечатлений, вынесенных им из Петербурга, – словом, говорил себе Ашанин, припоминая чью-то шутовскую выходку: «коли без хлеба, так дать хоть маленьчко пряничком побаловаться». Пряничек этот тотчас же представился Ашанину в образе любительского спектакля, – единственное «балованье себя», на которое мог согласиться Гундунов, – спектакль, где бы приятель его мог сыграть «хорошую», любезную ему роль, в которую он «ушел бы весь, ушел ото всей этой петербургской мерзости». А тут и случай выходил такой великолепный: княгиня Шастунова, с которою Ашанин познакомился зимою и в доме которой часто бывал, затевала у себя в деревне спектакль, в котором собирались участвовать все почти состоявшие тогда в Москве налицо актеры-любители. Оказывалось при этом, что имение Гундунова, куда он уезжал в тот же день, и Сицкое Шастуновых находились в том же уезде, в каких-нибудь пятнадцати верстах расстояния, что, кроме того, существовали даже старинные добрые отношения между теткою его приятеля, Софьею Ивановною Переверзиною, и владельцами Сицкого... «Да это сама благоволящая к тебе судьба так удачно устроила, – горячо доказывал Ашанин, – ведь подумай, Сережа, там можно будет „Гамлета“ поставить!...»

Он попал, что говорится, в самую жилку. *Выйти*, попробовать себя в *Гамлете*, – как пламенно мечтал об этом Гундунов в оны дни! Во всей человеческой литературе он не признавал ничего выше «Гамлета», ни одно великое произведение так глубоко не «забирало» его. Он знал наизусть всю роль датского принца и, бывало, увлекаясь до слез, читал ее в свободные минуты Ашанину и общему их пансионскому товарищу Вальковскому, бедному и малообразованному чиновнику какой-то палаты, но который опять-таки был дорог Гундунову вследствие уже совершенно фанатической любви своей к сцене...

К тому же, поддавался молодой человек на доводы приятеля, ему *теперь* действительно нужно рассеяться: ведь «с ума же можно сойти, вертаться, как белка в колесе, все на той же мысли: что я с собой буду делать?..» Гундунову было двадцать два года: – «не пропадать же, в самом деле!» – подсказывала ему его здоровая, склонная к энтузиазму натура... Кончилось тем, что он принял предложение Ашанина довести его к Шастуновым в Сицкое, по дороге к себе в деревню, где ждала его тетка, воспитавшая его, и к которой он был горячо привязан, – «а там увидим... смотря как... я не отказываюсь, но и...»

Ашанину ничего более не нужно было. Он мигом собрался – и друзья наши, пообедав в Троицком трактире и выпив, по предложению Ашанина, бутылку шампанского «во здравие искусства», выехали, не теряя времени, из Москвы.

Они теперь были от нее уже довольно далеко; солнце быстро склонялось на запад...

– Эта твоя княгиня, – заговорил опять Гундунов, – вдова, должно быть, князя Михаила Васильевича Шастунова, что посланником где-то был? Он ведь умер?..

– Два года тому назад. Он оставил дочь и сына-мальчишку. Они все, с князь Ларионом, жили потом в Италии, а нынешнюю зиму провели в Москве. Княжне Лине минет 19 лет; ее вывозили в свет зимою, но она, говорит, на балах скучала. Я им и предложил «театрик», как выражается Вальковский...

– Ах, что Вальковский, где он? – прервал Гундунов.

– У них теперь, в Сицком, – я его познакомил, – с неделю как туда уехал с декоратором, полотном, красками и целую библиотекою театральных пьес, которые как-то умел добыть из Малого театра.

– Он все тот же?

– Неизменен! – молвил, рассмеявшись, красавец. – Все так же груб, та же рожа сорокалет-него верблюда и кабаний клык со свистом и та же страсть с этою рожей играть молодые роли!.. Студента *Фортункина* мечтает теперь изобразить в «Шиле в мешке не утаишь»⁷. Можешь себе представить, как мил будет в этом!..

– И ты думаешь, – начал, помолчав, Гундуров, – что «Гамлета» действительно можно будет поставить?..

– Еще бы! Как раз по вкусу хозяйки! Она, видишь ты, непременно хочет «что-нибудь классическое, du Molière ou du Shakespeare»⁸, говорит, все равно, только que se soit sérieux»⁹. Она, сказать кстати, – молвил рассмеясь Ашанин, – княгиня-то Аглая, – глупа, как курица, а к тому с большими претензиями. Ей смерть хочется, чтобы принимали ее за прирожденную большую барыню, а на ее беду урожденная она Раскаталова, дочь миллионера-откупщика, и рождение-то ее, несмотря что она всегда в свете жила и даже посланницей была, нет-нет, да и скажется... Иной раз вследствие этого у князя Лариона вырываются жесткие слова по ее адресу.

– А что он за человек сам? – спросил Гундуров, – в детстве он мне представлялся всегда каким-то очень *важным* и суровым.

– Он настоящий *барин* и редко образованный человек! Он, ведь ты знаешь, занимал большие посты за границей и здесь; долго в большой силе был, говорят. Два года тому назад, в 48-м году, он попал в немилость и вышел в отставку. В то же время умер его брат; он уехал к его семейству, в Италию, – и вот с тех пор живет с ними... Он, кажется, князю очень любит, но любезную невестушку, видимо, в душе не переносит!.. И понятно: его барской брезгливости должен быть нестерпим этот – как бы тебе сказать? – этот душок раскаталовского подвала, пробивающий сквозь ее английский *ess bouquet*...¹⁰ К тому же... Они, надо тебе сказать, с братом в молодости, – тебе, верно, рассказывала Софья Ивановна? – очень сильно прожились... Шли они по службе очень быстро, состояли при графе Каподистриа¹¹, в дипломатической канцелярии самого Императора Александра¹², ездили с ним в путешествия, на конгрессы, – и везде жили барями, игру большую вели... А тут еще Байрон со своею свободой Греции; филэллинами они были¹³, жертвовали, говорят, на это несметными деньгами... Старик отец их, екатерининский генерал-аншеф, друг князя Потемкина¹⁴, с своей стороны, счета деньгам не знал. Словом, распорядились они втроем так прекрасно, что все их шастиновское княжество с молотка бы пошло, если бы князь Михайло, по приказанию отца, не женился на распрекрасной Аглае. Ее миллионами все было выкуплено; но и она не будь глупа, хотя и была, как кошка, влюблена в мужа, а это его и князь Лариона имение, – старик-князь тут же кстати и помер, – выкупила все на свое имя. Муж, таким образом, очутился по состоянию в ее зависимости, а князь Ларион остался бы, почитай, без гроша, если бы не наследовал полторы тысячи душ от матери, которая не жила с его отцом и умерла католичкой, в каком-то монастыре в Риме... Князь Михайле жена его, говорят, внушала полное отвращение, тем более что она всю жизнь преследовала его своими нежностями... Все одно, что меня моя покойница, – комически вздохнул красавец, – с тою разницею только, что *моя* просто пела мне: «люби меня, люби меня!», а Аглая своему мужу припевала еще к этому: «я любовь твою купила», и никак не хотела помириться с тем, что этот купленный ею товар никак не давался ей в руки... А князь Михайло был, говорят, человек прелестный, необыкновенно счастливый в женщинах. Аглая бесилась, умирала от ревности, чуть не по начальству жаловалась, всячески компрометировала своего мужа. Долгое время, говорят, супружество их было ад сущий... Но года за два до смерти он вдруг изменился, впал

в *haute dévotion*¹⁵, как это было с его матерью, и сблизился с женой христианского смирения ради... Ну, с князь Ларионом – другая песня! – засмеялся Ашанин. – Перед этим сама она должна смириться...

– Они что же, в Москве теперь станут жить по зимам? – заинтересовался Гундуров.

– Поневоле! Княгине-то смерть хочется в Петербург, – да не решается. Князь Ларион ни за какие сокровища не поедет теперь в этот «ефрейторский город» – как он однажды выразился при мне; – ну, а одной ей там поселиться – не выходит! Личных связей у ней никаких там, разумеется; к тому же с замужества все за границей жила, кто ее там из петербургских в Ганновере помнит! Богата она очень, могла бы дом открыть... Но, первое, денег она без особого расчета кидать не любит; а затем, деньгами Петербург не удивишь, надо там еще чего-то, – и она это хорошо понимает. Что в Петербурге за открытый дом, куда Двор не ездит? Ну-с, а этого она могла бы достигнуть единственно чрез князя Лариона, если бы он был в прежнем положении. Вот она и молится о нем денно и нощно: «пошли ему, Господи, поменьше гордости, а свыше побольше к нему милости», – и, в ожидании исполнения желаний, возит скрепя сердце дочь в московский свет, который почитает не стоящим внимания уже потому, что «dans tout Moscou, говорит она, il n'y a pas l'ombre d'un жених pour ша fille...»¹⁶

– Удивительный ты человек, Ашанин, – заметил, улыбаясь, его спутник, – чтобы про каждого, куда только вхож, всю подноготную разузнать!..

Ашанин весело пожал плечами:

– И не стараюсь, само как-то в уши лезет. У Шастуновых живет одна немолодая особа девического звания, Надеждой Федоровной Травкиной прозывается, весьма неглупая и, знаешь, это особый род старых дев: ирония снаружи и тщательно скрываемая, бесконечная сентиментальность внутри... Она князю газеты читает и пользуется вообще известным значением в доме... На первых же порах моего знакомства с ними стал я замечать, что она по мне втайне млеет, – такое уж у меня счастье на этих особ! – и Ашанин поднял глаза к небу... – Что же, однако, думаю, пусть себе млеет, меня от того не убудет... Стал я ее, знаешь, поощрять. Она мне всю закулисную про этот дом и выложила... И вот эту самую Надежду Федоровну, – заключил он, – я заставлю теперь королеву *Гертруду* сыграть; отлично сыграет, ручаюсь тебе!..

– А *Клавдио* кто бы мог? – заволновался опять Гундуров.

– Разумеется, Зяблин; так и смотрит театральным злодеем!

– Ты – *Лаерта*?

– Или *Горацио*, мне все равно. Пусть Лаерта лучше сыграет Чижевский – он с жарком актер. А мне роли поменьше учить!..

– Вальковский – *Полония*!

– Не выгорит у него, боюсь, – закачал головою Ашанин, – он его сейчас *шаржем* возьмет... А там у них, слышно, есть местный актер превосходнейший – исправник, Акулин по фамилии, отставной кавалерист; так вот его надо будет попробовать. Дочь у него также отличная актриса, говорят, институтка петербургская, – и с прелестным голосом, хоть оперу ставь, говорят...

Друзья опять заговорили о «Гамлете», об искусстве... Юный, бывалый восторг накопил постепенно в душе Гундунова. «Что же, не пропадать в самом деле», – все громче говорилось ему. Ему не позволяют быть ученым, – он не в состоянии сделаться чиновником... Но ведь вся жизнь впереди; он не знает, что будет делать; но он не сложит рук, не даст себя потопить этим мертвящим волнам, он найдет... А пока он *уйдет*, как говорит Ашанин, от всего этого гнета, от тревог жизненной заботы в волшебный, свободный мир искусства; он будет переживать сладостнейшие минуты, какие дано испытать человеку: его устами будет говорить величайший поэт мира и *человечнейший* из всех когда-либо созданных искусством человеческих типов. Погрузиться еще раз в его бесконечную глубину, стих за стихом проследить гениальные противоречия этой изумительно сотканной паутины, немощь, безумие, скептицизм, высокий

помысл, и каждой черте дать соответствующее выражение, *найти* звук, оттенок, жест и *пережить* все это в себе, и воспроизвести в стройном, поразительном, *животрепеющем* изображении, – о, какой это великолепный труд и какое наслаждение!...»

И Гундуров, надвинув покрепче от ветра мягкую шляпу на брови, уютно уткнувшись в угол коляски, глядел разгоревшимися глазами на бежавшее вдаль сероватой лентой шоссе, с подступившими к нему зелеными лугами, только что обрызганными какою-то одиноко пробежавшею тучкою... Все те же неслись они ему навстречу, с детства знакомые, с детства ему милые картины и встречи. По влажной тропке, за канавкою, идет о босу ногу солдатик, с фуражкою блином на затылке, с закинутыми на спину казенными сапогами; кланяются проезжим в пояс прохожие богомолки в черных платках, подвязанных под *дулику*¹⁷, с высокими посошками в загорелых руках; лениво позвякивает колокольчик *обратной* тройки, со спящим на дне ямщиком, и осторожные вороны тяжелым взмахом крыл слетают с острых груд наваленного по краям дороги щебня... А солнце заходит за кудрявые вершины недалекого лесочка, и синими полосами падают от него косые тени на пышные всходы молодой озими...¹⁸ И солнце, и тени, и эта волнующаяся тихая даль родной стороны, и теплые струи несущегося навстречу ветра, – все это каким-то торжествующим напором врывается в наболевшую «в петербургской мерзости» душу молодого человека и претворялось в одно невыразимо сладостное сознание бытия, в беспричинное, но неодолимое чаяние какого-то сияющего впереди, неведомого, но несомненного счастья...

Он с внезапным порывом обернулся к товарищу:

– Жить надо, а? Жить, просто *жить*... так, Ашанин¹⁸?

– И наслаждаться! – ответил ему тот пятью звучными грудными нотами в нисходящей гамме, – и тут же сразу затянул во всю глотку старостуденческую песню:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum su-umus¹⁹.

– Что, хорошо? – засмеялся он в ответ на смеявшийся же взгляд обернувшегося на эти звуки ямщика, – это, брат, по-нашенски: валяй по всем, пока кровь ключом бьет!..

– Ах вы, соколики! – тут же, мигом встрепенувшись на козлах, подобрал разом четверку такой же, как и Ашанин, черноглазый и кудрявый ямщик, – и коляска, взвизгнув широкими шинами по свеженастланной щебенке, понеслась стремглав под гору и взлетела на пригорок, словно на крыльях разгулявшегося орла...

На другой день, рано утром, приятелей наших, сладко заснувших под полночь, разбудил старый слуга Гундунова. Они подъезжали к Сицкому.

II

Большой, белый, александровского времени дом в три этажа, с тяжелыми колоннами под широким балконом и висячими галереями, соединявшими его с двумя выходившими фасадами на двор длинными флигелями, глядел если не величественно, то массивно, с довольно крутой возвышенности, под которою сверкала под первыми лучами утра довольно широкая светлая речка, в полуверсте отсюда впадавшая в Оку. Темными кущами спускались от него по склону с обеих сторон густые аллеи старинного сада, а перед самым домом стлался ниспадающим ковром испещренный цветами луг, с высоко бившим фонтаном на полугоре. Сквозь деревья нарядно мелькали трельяжи и вычурные крыши китайских беседок, и свежеекрашенные скамейки белели над тщательно усыпанными толченым кирпичом дорожками.

– А ведь красиво смотрит! – говорил Ашанин, любуясь видом, в ожидании парома, подтягивавшегося с того берега.

Гундуrow еле заметно повел плечом.

– А тебе не нравится?

– Не приводит в восторг, во всяком случае, – отвечал он не сейчас, – мне, – засмеялся он, – как сказал древний поэт, – «более всего *уголки* улыбаются».

– Верю, – заметил Ашанин, – только вот беда: в *уголке-то* «театрика» не устроишь.

– Д-да, – не будь этого...

Ашанин глянул ему прямо в глаза:

– А знаешь, что, Сережа, я тебе скажу, – ведь ты ужасный гордец!

Румянец внезапно вспыхнул на щеках Гундуrowа:

– Я гордец! Из чего ты взял?..

– А из того, голубчик, что я тебя лучше самого себя знаю... Только поверь, тебя здесь ничто не оскорбит!

– Да я и не думал...

– Ну, ладно!

И Ашанин, не продолжая, побежал на паром.

– Колокольчик подвяжи! – наставлял он ямщика, – а то мы, пожалуй, там всех перебудим. Бывал ты в Сицком?

– Как не бывать, батюшка! Возили!..

– Так как бы нам так подъехать, чтоб грохоту от нас поменьше было?

– Да вам к кому, к самим господам, аль к управителю? – молвил на это уже несколько свысока ямщик.

– К скотнику, милый мой, к скотнику! – расхохотался Ашанин. – Трогай!..

Они поднялись по шоссированной, отлогою спиралью огибавшей гору дороге – и очутились у ограды на каменных столбах, с железными между ними копиями, острием вверх, и высокими посередке воротами-аркою, над которой словно зевала разинутая пасть грубо вытесанного из местного камня льва на задних лапах, с передними, опиравшимися на большую позолоченную медную доску, на которой изображен был рельефом княжеский герб Шастуновых. Все это было ново и резало глаза свежеею белоею краской и резкостью линий...

– Ишь ты, зверища-то какого подняли! – проговорил ямщик, осаживая лошадей пред полупримкнутыми половинками ворот и заглядываясь наверх.

– Въезжать, что ль? – спросил он, оборачиваясь к господам.

– Безвкусица-таки порядочная!.. – также подняв глаза на каменного зверя, молвил Гундуrow и смутился...

Перед ним стоял только что вышедший из ворот высокий и сухой, в широкополой серой шляпе и длинном сюртуке *à la propriétaire*¹ мужчина, которому по бодрому его виду, едва заметной проседи и живости темных глаз, светивших из-под седоватых, как и его волосы, бровей, можно было дать на первый раз никак не более пятидесяти лет.

Он стоял, глядя на Гундуrowа и мягко улыбаясь тонко сложенными губами, как бы говорившими: я совершенно с тобою согласен.

– Князь Ларион Васильевич! – воскликнул Ашанин, поспешно снимая шляпу и высккивая из коляски... – Позвольте, – заторопился он, – представить вам спутника моего и лучшего друга...

– Сергея Михайловича Гундуrowа, не так ли? – досказал сам князь, с тою же мягкой улыбкой, и протянул этому руку. – Софья Ивановна ждет вас давно, – прибавил он, как-то особенно внимательно и приветливо продолжая глядеть в лицо Гундуrowу.

– Вы ее видели? – даже несколько удивился тот.

– Непременно-с! Как только узнал о ее прибытии в Сашино, поспешил навестить... Я давно привык любить и уважать вашу тетюшку! – как бы счел нужным объяснить князь ту благосклонность, которую он теперь видимо оказывал незнакомому молодому человеку.

– Княгиня Аглая Константиновна будет очень рада вашему приезду, – сказал он Ашанину, – вы ведь, кажется, главный рычаг в ее театральной затее?..

– Позвольте отклонить неподобающую мне честь, – весело отвечал красавец, – я только вчинатель, а главная пружина деятельности – приятель наш, Вальковский... Смею спросить, ваше сиятельство: как он ведет себя здесь? Видите ли вы его иногда?

Усмешка еще раз скользнула по устам князя Лариона.

– Является к обеду, и то не всегда; целый день в театре – пилит, мажет и клеит.

– Он как есть – фанатик! – засмеялся Ашанин.

– Да, – сказал на это серьезным тоном князь, – черта редкая у нас и всегда говорящая в пользу человека... Что же ты стоишь, милый мой, – он глянул на ямщика, – въезжай!..

– Куда прикажете подъехать? – спросил Ашанин.

– Я вам укажу.

Он вошел с молодыми людьми на двор и направился к одному из флигелей.

– Мне говорила почтенная Софья Ивановна, что вы из Петербурга бежали? – обратился он снова к Гундурову, очевидно вызывая молодого человека на откровенный рассказ.

Гундурову нечего было скрывать; к тому же этот, казавшийся ему в детстве «суровым», человек влек его к себе теперь своею приветливостью и обаянием какого-то особого изящества всей своей особы. Он передал ему в коротких словах все то, что уже известно нашему читателю.

Князь слушал внимательно, медленно подвигаясь вперед и глядя не на него, а куда-то в сторону, совершенно, казалось, бесстрастными глазами; только по изгибу его губ змеилось какое-то едва уловимое выражение печали...

Гундуров давно замолк, когда он, остановившись посреди двора, проговорил вдруг почти строго:

– Главное – душевная бодрость!.. Мне недавно показывали стихи... с большим талантом и горечью написанные, – вы их верно знаете? – там говорится: «Разбейтесь силы, вы не нужны»¹. Не верьте, не отдавайтесь этому! Вы молоды!.. Рано ли, поздно ль, силы эти – они пригодятся... И так же внезапно переменяя тон: – Это, кажется, у вас в водевиле в каком-то поется, – князь обернулся на Ашанина. – «Не все-ж на небе будет дождь, авось и солнышко проглянет!..»

– Не помню-с, а с моралью согласен! – отвечал, смеясь, Ашанин, – даже всю дорогу от Москвы сюда проповедывал ее Гундурову... И если, ваше сиятельство, не откажете в вашем согласии, мы ее тотчас же приложим к делу?

– Что такое? – спросил, слегка нахмурясь, князь.

– Я уговариваю Сережу принять участие в наших спектаклях здесь и именно сыграть роль *Гамлета*, которую он наизусть знает и страстно любит...

Князь поднял вопросительно глаза на Гундурова, затем перевел их на Ашанина, впившегося в него, в свою очередь, своими выразительными черными глазами, и тотчас же сообразил, в чем дело...

– Это прекрасная мысль, Сергей Михайлович, – поощрил он его, – и затея Аглаи Константиновны примет таким образом совсем иной, серьезный характер...

– А уж какая *Офелия* будет у нас княжна Елена Михайловна! – вскрикнул, торжествуя, Ашанин.

Под нависшими веками князя Лариона что-то мгновенно сверкнуло и погасло.

¹ Стихотворение И. С. Аксакова.

– *Офелия...* д-да... она действительно... – проговорил он, как бы думая о чем-то другом и не глядя на наших друзей...

Он опять остановился.

– Так вы хотите играть «Гамлета», молодые люди?.. Я видел «Гамлета» на всех сценах Европы, и, между прочим, в Веймаре, в то еще время, когда Гёте был там директором театра, – заговорил князь после минуты молчания с каким-то внезапным оживлением, – и, признаюсь вам, выходил каждый раз из театра неудовлетворенный... Ведь это удивительное произведение, господа, и невообразимо сложный тип, и ³Гизо совершенно справедливо сказал, что два века не успели еще исчерпать всю его глубину...⁻³

– Да, это верно, – воскликнул Гундуrow, – и потому, может быть, он так и манит, так и влечет к себе, что каждый подступающий к нему находит в нем как бы личные, родственные ему черты.

– И, может быть, именно вследствие этого, – заметил, в свою очередь, князь Ларион, – он в исполнении так редко удовлетворяет всех... У вас подходящая к типу наружность, – прервал он себя, оглядывая Гундуrow, – белокурое бледное лицо, задумчивый облик, – князь усмехнулся: – тонки слишком!.. Заметьте, как глубоко и верно схвачено это у Шекспира: *Гамлет* — натура вдумчивая, рефлексивная, – «мечтательно преданный безмерно»⁴, как сказал когда-то Пушкин про современного человека, к которому *Гамлет* так удивительно, так невероятно близок, что сам Гейне⁵, его ближайший представитель, не ближе к нему; такие люди мало подвижны, склонны к раннему ожирению; он тяжел на подъем, страдает астмой, – помните сцену поединка? – «Он толстоват и дышит коротко»², – говорит прямо мать о нем... Попробуйте, попробуйте себя на этой роли! – как-то вдруг оборвал князь, словно устав или не желая продолжать. Гундуrowым овладело смущение.

– Вы, я вижу, такой знаток, князь, – проговорил он робко, – что я, мне кажется, никогда не осмелюсь выйти перед вами...

– А вы как же-с, – и князь с тем же строгим, почти повелительным выражением, с каким он глядел, внушая Гундуrowу бодрость духа, взглянул на него опять, – вы бы хотели играть для тех, которые аза в глаза не понимают?.. Таких у вас будет полна зала, – можете быть спокойны!..

– Не слушайте его, князь, – Ашанин замахал руками, – я слышал не раз, как он читает роль, и заранее уверяю вас, что он удовлетворит вас более, чем все слышанные вами в Европе актеры!..

– Верю! – искренним тоном отвечал князь Ларион на эту наивную приятельскую похвальбу, – верю, – как бы про себя повторил он, – потому что одна из принципиальных черт этого характера, его колебания и неустой, никому, кажется, так непонятна, как русскому человеку...

– Который, – подхватил на лету со смехом Ашанин, – «на все руки», как сказал Брюлов⁶, «но все руки коротки»!..

– Да-с, – сухо ответил князь, – только об этом, пожалуй, скорее в пору плакать, чем смеяться...

Коляска молодых людей подъехала тем временем к крыльцу флигеля, у которого они сами с князем теперь остановились, и слуга Сергея Михайловича принялся стаскивать с козел привязанный там чемодан Ашанина.

– Потрудись, любезный, – сказал ему князь, – зайти сюда к дежурному, направо, и разбуди его, чтоб он шел с ключами скорее комнаты открывать. Как вам удобнее, господин, вместе или порознь?

² He's fat and scant of breath. Ast. V. Sc. II.

– Вы извините меня, князь, – сказал Гундуров, – но я никак не рассчитывал встретиться с вами, и потому у нас положено было с Ашаниным, что я его только довезу сюда, а сам тотчас же отправлюсь к тетушке, которую еще не видал...

– Вы всегда успеете выпить здесь чашку чаю, – прервал его князь Ларион; – вам до Сашина никак не более часа езды, а теперь, – он вынул часы, – половина седьмого. Софья Ивановна, при всех ее качествах, – примолвил он шутливо, – не имеет, вероятно, моей привычки вставать зимою и летом в пять часов утра...

– Зимою и летом! – даже вскрикнул Ашанин.

– Точно так-с, – и советую всем делать то же. Сам я веду этот образ жизни с двадцатипятилетнего возраста, по совету человека, которого я близко знал и высоко ценил, – Лафатера⁷, и до сих пор благословляю его за это... А вот и дежурный!.. Показать господам комнаты и подать им чаю и кофе, куда они прикажут!.. Ваш приятель, господа, живет тут же, в этом флигеле... Я не прощаюсь с вами, Сергей Михайлович, – примолвил князь, – но вы мне позволите докончить мою ежедневную двухчасовую прогулку, – это также составляет *conditionem sine qua non*⁸ моей гигиены.

И, кивнув молодым людям, он удалился.

– Да, он действительно очень умен и образован! – молвил Гундуров, подымаясь с Ашаниным по лестнице вслед за бежавшим впереди слугою.

– И ядовит! – примолвил его приятель. – Заметил ты, как он кольнул меня моим *ничего-неделаньем?*.. Что ж, – вдруг глубоко вздохнул красавец, – он правду сказал: плакать над этим надо, а не смеяться!..

Гундуров улыбнулся – ему не впервые приходилось слышать эти ни к чему не ведущие никогда самобичевания Ашанина...

Они вошли в коридор, по обеим сторонам которого расположены были комнаты, назначаемые гостям...

Не проспавшийся еще слуга ткнулся о первую попавшуюся ему дверь:

– Пожалуйте! – приглашал он, зевая.

– Мы бы прежде всего хотели увидеть господина Вальковского, – сказал Ашанин.

– Вальковского? Это то-есть, какие они из себя будут? – недоумевал сонный дежурный.

– А вот я тебе объясню: волчьи зубы, на голове бор, и в театре целый день с рабочими бранится...

– Знаю-с! – широко осклабился понявший слуга и протер себе глаза, – пожалуйста!

III

Вальковский спал спиной вверх, ухватив огромными ручищами подушку, едва выглядывавшую из-под этих его рук и раскинувшихся по ней, словно ворох надерганной кудели, всклокоченных и, как лес, густых волос.

– Гляди, – расхохотался Ашанин, входя в комнату с Гундуровым, – *фанатик-то!* Ведь спит совсем одетый, – только сюртук успел скинуть... Пришел, значит, из «театрика» без ног и так повалился... Экой шут гороховый!..

– Жаль будить его, беднягу! – говорил Гундуров.

Но Вальковский, прослышав сквозь сон шаги и голоса, встрепенулся вдруг, быстро перевернулся на постели, сел и, не открывая еще глаз, закричал:

– Что, подмалевали подзоры¹?

– Чучело, чучело, – помирал со смеху Ашанин, – какие тебе подзоры! Гляди, кто перед тобою!..

– Гундуров, Сережа, мамочка! – визгливым фальцетом от переизбытка радости заголосил Вальковский. – Разумница ты моя писаная!.. Князь говорил мне вчера, что тебя ждут... Станешь играть *доктора*? – так и огорошил он его с первого раза.

– Какого доктора? – проговорил озадаченный Гундуров.

– Да в *Шиле*... Зяблин отказывается, дрянь эта салонная! Чижевский еще, черт его знает, придет ли...

– А я тебе говорю, – так и напустился на него Ашанин, – чтоб ты мне про свое *шило* и заикаться не смел, а то я тебе им брюхо пропорю... Станет Сережа об эту твою мерзость мараться, когда мы вот сейчас порешили с князем «Гамлета» ставить...

– «Гамлета»? С князем!.. – Вальковский даже в лице изменился и судорожно начал ерошить свои сбитые волосы. – Какая ж мне там роль будет?.. *Горацио* разве сыграть мне? – неуверенно, сквозь зубы проговорил он, исподлобья поглядывая с постели на Ашанина.

– Ну, с твоим ли мурлом, – крикнул на него тот опять, – лезть на молодые роли, да еще на *резонеров*! Или не помнишь, как ты провалился в *Герцоге* в *Скупом рыцаре*?

Сконфуженный «фанатик» опустил голову и принялся натягивать сапоги на ноги.

– *Полоний*, вот тебе роль! Да и то еще надобно тебя пощупать.

– Нечего меня щупать! – огрызся на этот раз Вальковский, – на репетициях я себя не покажу... Я актер нервный, играю *как скажется*...

– И лжешь, лжешь, от начала до конца лжешь, – доказывал ему Ашанин, – во-первых, у тебя не нервы, а канаты, которые топором не перерубишь; во-вторых, только то у тебя и выходит, что ты у себя в комнате перед зеркалом проделал сто раз, пока добился своего эффекта... А как ты только до цыганского пота над ролью не проработал, – так и гони тебя вон со сцены!..

– И это тебе в похвалу сказывается, Вальковский, – утешал его Гундуров, – роль, что клад, дается в руки лишь тому, кто дорожится до нее!..

– Ну вот! – качнул головою «фанатик», направляясь к умывальнику, – а Мочалов²?

У Гундунова заморгали глаза, что всегда служило в нем признаком охватывавшего его волнения; он опустил в кресло:

– Мочалов, – повторил он, – это я постоянно слышу: Мочалов! А я вот тебе что скажу, Вальковский, – и да простит это мне его всем нам дорогая память! – Но эта мочаловская манера игры «*как скажется*», как Бог на душу положит, возведенная в теорию, погубит русскую сцену! Ведь это опять все та же наша варварская *авоська* в применении к искусству – пойми ты это!..

– Погоди, погоди-ка, Сережа! – прервал его Ашанин. – А помнишь, – мы с тобой вместе были тогда, на первом это курсе было, – как однажды в «Гамлете», после сцены в театре, он, подняв голову с колен Орловой³ – Офелии, пополз... помнишь? – да, пополз на четвереньках через всю сцену к рампе и этим своим чудным, на всю залу слышным шепотом проговорил:

«Оленя ранили стрелой» – и засмеялся... Господи!.. Помню, ты даже привскочил!.. У меня зубы застучали, и я три ночи после этого не мог заснуть: все слышался мне этот шепот и смех.

– Да, но зато, признайтесь, – Гундуров даже вздохнул, – сколько приходилось нам целыми представлениями переносить у него нестерпимой вялости, фальши, непонимания роли?.. *Минуты* у него были божественные! – но одни минуты! Полного образа, типа, цельного характера он тебе никогда не давал...

– Что-о? – так и заревел Вальковский, отрываясь мокрым лицом от умывальника, в котором плескался он, и кидаясь на серединку комнаты с этим мокрым лицом и неотертыми руками, – в *Миллере*, в «Коварстве и любви»⁴ он тебе не давал *образа*?..

– В *Миллере*... – начал было Гундуров.

– Что же ты, в Петербурге Каратыгиным объелся⁵, видно! Каратыгин теперь, по-твоему, великий актер? – чуть-чуть не с пеной у рта подступал к нему тот.

– Позволь тебе сказать...

– Фельдфебель, трескотня, рутина!.. Барабанщик французский – вот он что, твой Каратыгин! – ревел Вальковский, ничего не слушая...

– Эко чучело! Эка безобразина! – надрывался смехом Ашанин, глядя на него.

– А в «Заколдованном доме»⁶ видел ты его? – спросил Гундуков.

– В «Заколдованном доме»? – повторил фанатик, мгновенно стихая, – видел!..

– Ну, и что же?

– Хорош был, – глухим баском проговорил он и, опустив голову, опять отошел к своему умывальнику, – король был действительно настоящий... страшен... правдою страшен! – отрывисто пропускал уже Вальковский, отфыркиваясь и плеща в тазу.

– То-то и есть, – заговорил опять Гундуков, – что он *образованный и думающий* актер, и что ты это чувствуешь, как только он выйдет пред тобою в подходящей роли. Он знает *кого, когда, что* он играет!.. А что ему «Иголкиных» да «Денщиков»³⁷ приходится вечно изображать, так в этом, брат, не он виноват, а петербургские гниль и лакейство...

– Так что же, по-твоему, – прервал его «фанатик», останавливаясь в раздумьи перед ним с полотенцем в руках, – вдохновенье актеру надо, значит, побоку?..

– Это еще что за вздор! – горячо воскликнул Гундуков. – Разве мешали когда-нибудь *вдохновенью* труд, подготовка, строгое отношение к своему дарованию? Вспомни Пушкина – чего тебе лучше пример?.. Случайное вдохновенье есть и в дикой калмыцкой песне, и у безобразного Тредьяковского вылились невзначай пять *вдохновенных* стихов⁴⁸... Но разве об этом речь? Мы говорим об искусстве, о святыне, к которой нельзя подходить с неумытыми руками!..

– Молодчина, Сережа! – воскликнул увлеченный последними словами Вальковский. – Дай, влеплю тебе безешку за это⁹!.. – И он полез обнимать приятеля, еще весь мокрый...

– А для меня из смысла басни сей, – комически начал вздыхать Ашанин, – выходит то, что вы теперь потребуете от меня вызубрить вдолбляшку роль *Лаерта*.

– И вызубришь! – засмеялся Гундуков.

– Как же! Держи карман! – хихикнул Вальковский, – выйдет, и, по обыкновению, ни в зуб толкнуть!.. Он у нас, известно, как толстые кучера у купечества, на «фэгуре» выезжает!..

Ашанин весело головою потряхнул, как бы не заметив недоброго взгляда, сопровождавшего эту выходку его приятеля:

– Каждому свое, Ваня – я фигурю, а ты волчьим ртом...

– И лисьим хвостом! – договорил сам Вальковский, принимаясь громко хохотать, – а ведь точно, братцы, княгиню-то я совсем объехал!..

– Как так! – изумился Гундуков.

– Да так, что что я ни захочу, то она и делает... Шесть *перемен* новых у нас в театре уже готово: две комнаты, зало с колоннами, улица, сад, лес. Старые декорации, какие от времен старого князя остались, те все подновил. И какие декорации, братцы! Старик-то, видно, человек со вкусом был и страсть к искусству имел, труппа своя постоянная была. Сам Император Александр, рассказывают тут старые дворовые, приезжал к нему сюда гостить и на спектакле был. Барин был важный... Ну, а эта, – Вальковский подмигнул и оскалил свой волчий клык, – как есть жид-баба, кулак; только очень уже чванна при этом, так этим ее как рыбицу на уде и

³ «Иголкин», драматическое представление Полевого, и 5-актная драма Кукольника «Денщик», весьма долго, как известно, держались на репертуаре Александринского театра в прошлое царствование.

⁴ Воини, о небо, и реку! Земля да слышит уст глаголы! Как дождь я словом потеку, И снидут, как роса к цветку, Мои вещания на доли!

водишь. Как начали мы здесь театр устраивать, потребовала она от декоратора сметы. Я ему и говорю: «ты, брат, ее не жалея, валяй так, чтоб на славу театрик вышел». Он и вкатал ей смету в полторы тысячи. Она так и взвизгнула: «ах, говорит, *ком се шер*¹⁰, и неужто все это нужно?» И на меня так и уставилась. Я ничего, молчу. Начинает она улыбаться: «и дешевле нельзя, спрашивает, *мон шер*¹ Иван Ильич?» – Отчего, говорю, можно; вот я в Замоскворечьи купца Телятникова театрик устраивал, всего расходу на полтора ста целкашей вышло. Так, поверите, ее аж всю повело: «потрудитесь, говорит Александрову, представить это в мою контору, – сколько вам нужно будет денег, там получите...» С тех пор, – расхохотался «фанатик», – что ни скажу, то свято!.. Да что мы здесь делаем, – вскинулся он вдруг, – ходим в театр! Сами увидите, что за прелесть!..

– Мне ехать домой пора, – сказал Гундуrow, – лошади ждут...

– Лошадей ваших князь велел отправить, – доложил слуга, входивший в ту минуту в комнату с чаем.

– Как отправить?

– Сказывать изволили, что, когда пожелаете, всегда наши лошади могут вас отвезти.

– Молодец князь! – воскликнул Вальковский. – Любезный, неси нам чай на сцену, да булок побольше, я есть хочу... Ну, Сережа, чего ты осовел? Напьемся чаю, театрик осмотришь, а там уедешь себе с Богом...

– Ладно, – сказал за Гундуrowа Ашанин, – только дай нам себя несколько в порядок привести!

Друзья умылись, переменили белье, причесались и отправились вслед за Вальковским в «театрик».

IV

*¹ Люблю тебя, люблю мечты моей создание.
С очами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За роцей первое сиянье¹.*

Лермонтов.

Помещение театра занимало почти весь правый двухэтажный флигель дома. Гундуrow так и ахнул, войдя в него. Он никак не воображал его себе таким объемистым, удобным, красивым. Широкая и глубокая сцена, зала в два света амфитеатром, отставленные временно к стенам кресла, обитые старинным, еще мало выцветшим малиновым тисненым бархатом, пляшущие нимфы и толстопузые амурь, расписанные по высокому своду плафона, сверкавшие под утренними лучами стеклышки спускавшейся с него большой хрустальной люстры, проникающий запах свежего дерева и краски, – все это подымало в душе молодого любителя целый строй блаженных ощущений, всю забирающую прелесть которых поймет лишь тот, кто сам испытывал их, кто сам пьянел и замирал от восторгов и тревоги под влиянием того, что французы называют *l'enivrante et âcre senteur de la rampe*²...

И Гундуrow с безотчетною, счастливою улыбкою осторожно пробирался теперь, вслед за Вальковским, промеж брусков, горшков с краскою, гвоздей и всякого хлама, мимо растянутого на полу залы полотна, на котором сохла только что вчера написанная декорация. «Фанатик» трещал, как канарейка, и от избытка всего того, что хотелось ему сообщить друзьям, путался и заикался, беспрестанно перебегая от одного предмета к другому. Он говорил об оркестре, набранном им из музыкантов Малого театра, с которыми, как и со всем московским театральным миром, состоял *на ты*, и тут же поминал крепким словом дворецкого княгини, с которым уже успел два раза выругаться; передавал о какой-то старой кладовой, открытой

им, где он нашел «самую подходящую»-де к «Гамлету» мебель, и о почему-то вздорожавших кобальте и охре; сообщал, что первый *театрик* имеет быть 3-го июня, в день рождения княжны, которой минет 19 лет, и что к этому дню наедет в Сицкое чуть не пол-Москвы, и даже из Петербурга какие-то генералы обещались быть...

Но вся эта болтовня шла мимо ушей Гундунова. Он только видел пред собою сцену, на которой он появится вот из-за этой второй налево кулисы, изображающей теперь дерево с теми под ними невиданными желтыми цветами, какие только пишутся на декорациях, а которая тогда будет изображать колонну или пилястр большой залы в Эльсиноре, – появится с выражением «бесконечной печали на челе», с едва держащейся на плечах мантией и спущенным на одной ноге чулком, как выходил Кин, и, скрестив на груди руки, безмолвно, не подымая глаз, перейдет направо, подальше от Клавдио...³

– «Отбрось ночную тень, мой добрый Гамлет», – начнет *Гертруда*, —

Зачем искать с опущенной ресницей
Во прахе благородного отца?
Ты знаешь; все, что живо, то умрет...

– Да, ответит он, – и как он это скажет!.. —

Да, все умрет! – «А если так,
То что ж тебе тут кажется так странно?»

А он... И Гундунов, вбежав на сцену, уже стоял с этими скрещенными на груди руками, на этом своем месте направо, и пробовал резонанс залы:

Нет, мне не *кажется*, а точно *есть*,
И для меня все *кажется* ничтожно...
Нет, матушка, ни траурный мой плащ,
Ни грустный вид унылого лица,
Ни слез текущий из очей поток, —
Ничто, ничто из этих знаков скорби
Не скажет истины...

– читал он, постепенно повышая голос, давая сам себе реплику и бессознательно увлекаясь сам...

– Верно, хорошо! – одобрительно покачивал головою глядевший на него снизу Ашанин.

– Э, брат, – крикнул в свою очередь Вальковский, – да ты своего что ли *Гамлета* читаешь?

– Как так?

– Я выход-то Мочалова хорошо помню, – совсем не те слова были...

– Ну да, – объяснил Гундунов, – в театре у нас играют по переделке Полевого, а я читал по кронеберговскому переводу⁴.

– Для чего же это? – недовольным голосом спросил Вальковский.

– А потому что он и ближе, и изящнее...

– А к тому все привыкли, знают, вся Россия... торговцы в городе его знают, так нечего нам мудровать с тобою. Тут не в верности дело, а чтобы каждый сердцем понял... – запнулся Вальковский, не умея, как всегда, договорить свою мысль.

– Да к тому же и варламовская музыка, всем известная, – поддерживал его Ашанин.

И он запел фальцетом на всю залу:

⁵Моего ль вы знали друга?
Он был бравый молодец...

– В белых перьях статный воин,
Первый Дании боец⁵,

– неожиданно ответил ему вблизи чей-то свежий, звучный женский голос, – и из-за стремительно отворившихся на обе половинки ближайших к сцене дверей вылетела, остановилась на бегу, зарделась и вдруг залилась раскатистым, не совсем естественным смехом быстроглазая, свежая и пышная брюнетка, девушка лет девятнадцати...

– Pardon⁶, – заговорила она сквозь смех приятным грудным голосом, – слышу, поют знакомое... Я думала... – Она не договорила, приподняла длинные ресницы и метнула вызывающими глазами в недоумевающие глаза Ашанина. – Ах, здравствуйте, Иван Ильич! – И она кинулась с протянутой рукою к Вальковскому. – Это, верно, monsieur⁷ Ашанин? – спросила она его шепотом, слышным на всю залу.

– Сам! – нахмурившись, пробурчал ей в ответ «фанатик».

– Я так и знала! – проговорила она, повела еще раз на красавца своим возбуждательным взглядом и – побежала назад в ту дверь, откуда появилась. – Лина, Лина, – слышался ее звонкий смех в коридоре, в который вела эта дверь, – что же вы меня оставили одну, на съедение?..

– Что за прелесть! Кто такая? – с загоревшимися зрачками обратился Ашанин к Вальковскому.

– Стрекоза! – отрезал тот, отворачиваясь.

Гундунов глядел на все это со сцены и ничего не понимал...

Но вот опять из тех же дверей вынеслась быстроглазая особа – и за нею ступила в залу...

Ашанин был прав, говоря о ней Гундунову: более соответствовавшей *Офелии* наружности трудно было себе представить. Высокая и стройная, с золотистым отливом густых кос, лежавших венцом, по моде того времени, кругом ее маленькой, словно выточенной головы, – в ней было что-то невыразимо-девственное и свежее, что-то *полевое*, как васильки, цвета которых были ее длинные, тихие, никогда не улыбавшиеся глаза, – как спелый колос, к которому можно было приравнять ее тонкий, красиво и мягко, как бы от слабости, гнувшийся стан... Словно вся благоухала этою девственною, полевою свежестью княжна Лина – Елена Михайловна – Шастунова.

Она остановилась, с любопытством обводя вокруг себя взглядом, и тихо, одною головой, с каким-то застенчивым достоинством, поклонилась нашим друзьям.

Сам суровый «фанатик» размяк от этого появления.

– Пожалуйста, сиятельная, пожалуйста, гостя будете, – приветствовал он ее, – только осторожнее подбирайте ноженьки, чтобы башмачков и платица о красочку не замарать...

– Да какая же вы ранняя пташка, княжна? – молвил, подходя к ней, Ашанин.

– Это я, я, monsieur Ашанин, – не дав той отворить рта, защелбала черноглазая ее спутница, относясь к молодому человеку, будто всю жизнь была с ним знакома, – я подняла сегодня Лину спозаранку... Князь вчера дразнил нас непробудными сонями, – так вот мы ему и доказали!.. Ах, вот и Надежда Федоровна! Несносная! – кинула она вполголоса не то княжне, не то Ашанину – и темные, красиво очерченные брови сдвинулись над еще весело сверкавшими глазами барышни.

Надежда Федоровна Травкина – та, которую Ашанин так непочтительно называл «особою девического звания», – была девушка далеко не молодая, с довольно правильными, но не привлекательными, под натянутою на них, словно полинялою, кожей, чертами лица, мягким

выражением больших, несколько подслеповатых глаз и весьма заметною, не то презрительною, не то горькою усмешкою, постоянно игравшею в уголку ее рта. Держала она себя чрезвычайно чинно и опрятно. Сухие очертания ее тела скрывались под хорошо скроенным, ловко сидевшим на ней темным платьем. Вся она, в этом скромном платье, гладких воротничках и нарукавничках ослепительной белизны, напоминала собою почтенный, малоизвестный в России, тип француженки-протестантки.

Она холодно обменялась поклоном с бойкой девицей и подошла к княжне.

– Я сейчас от вас, Лина; мне сказали... Владимир Петрович! – с мгновенно сдержанным взрывом радости, не договорив, протянула она Ашанину свою руку.

– А вы не знали, что monsieur Ашанин здесь?

И лукаво воззрилась на нее быстроглазая барышня.

– Не знала, Ольга Елпидифоровна, – и тем более рада... А вы знали, видно? – спокойно и несколько ядовито промолвила та, между тем как веки ее нервно помаргивали.

– И тем более будете рады, Надежда Федоровна, – поспешил заговорить Ашанин, – что счастливая моя звезда позволила мне привезти сюда того, о ком я так часто вам говорил... Гундугов, представляйся дамам! – Он обернулся к сцене, на которой по-прежнему стоял его приятель, не зная, что с собой делать.

– Так позвольте мне по крайней мере с подмостков сойти, – отвечал он, кланяясь и слегка конфузясь, – а то я здесь точно зверь какой-то, выведенный напоказ!..

Ольга Елпидифоровна так и покатилась. Улыбнулась и княжна, улыбнулась широкою, молодою улыбкою, от которой словно все осветилось вокруг нее, – показалось Гундугову.

Вальковский замахал руками:

– Нет уж, нет, пожалуйста! Лучше все вы на сцену переходите, – благо и чай там подан... А то вот вы мне, – накинулся он на продолжавшую хохотать барышню, – целую крышу с декорации смахнули юбками-то вашими!..

– Ах, какой вы дерзкий, как я посмотрю! – отпарировала Ольга Елпидифоровна, быстро откидывая голову за спину, в тревоге за следы этой крыши на ее юбках...

За кулисами оказались три стула, складная лестница, какой-то табурет и стол с чаем и огромным количеством булок, принесенных для Вальковского. Общество кое-как расселось на сцене.

– Прежде всего, позвольте известить вас, княжна, – полушутливым, полуторжественным тоном начал Ашанин, – что здесь, на этой сцене, мы собираемся священнодействовать...

– Что такое? – усмехнулась она.

– Мы «Гамлета» ставим, княжна! – объяснил он.

– «Гамлет», сочинение Вильяма Шекспира! – проговорила скороговоркой Ольга Елпидифоровна. – Мне есть там роль?

– Совершенно справедливо извоили сказать: «Гамлет», сочинение Вильяма Шекспира! – повторил, низко ей кланяясь, Ашанин. – И роли для вас, увы, там не имеется.

– А почему так? – Барышня вспыхнула опять и от отказа, и от нежного взгляда, который по этому поводу счел нужным препроводить ей красавец.

– Потому-с, что там только две роли: *Офелия*, каковая непременно должна быть блондинка, – вы же очаровательная брюнетка, – и *Гертруды*, матери *Гамлета*, которую мы попросим взять на себя милейшую Надежду Федоровну.

– Меня! – испуганно вскрикнула та. – Помилуйте, я в жизнь свою ни разу не играла!

– Это ничего не значит!

– Разумеется, ничего! – поспешно подтвердила, слегка заалев и пожимая ей руку, княжна. Она видимо вся оживилась от удовольствия этой предстоявшей ей роли.

– Не радуйтесь заранее, Лина, – закачала головою Надежда Федоровна, – эти господа решили, но еще неведомо, согласится ли начальство...

– Отчего!? – живо возразила княжна. – Я прочла всего Шекспира, и сам дядя мне книгу подарил.

– Ваш Шекспир с пропусками – детское издание! – с легкой гримаской заметила немолдая девица.

– Что же, можно и с пропусками играть, лишь бы княжна могла участвовать! – не дал ей договорить Гундуrow, сам не понимая, как он мог сделать такую уступку, и чувствуя, как кровь выступала у него на щеках под благодарным взглядом, который повела на него за это княжна.

– Позвольте вас всех успокоить, – вмешался Ашанин, – *начальство*, в лице по крайней мере князь-Лариона Васильевича, на пьесу согласно: играть ее с пропусками или без них – вопрос второстепенный. Нам же теперь следует порешить распределение главных ролей. Итак: *Офелия* — княжна; *Гертруда* — Надежда Федоровна...

– Что вы, что вы! Да я ни за что не буду!..

– Вы не бу-де-те? – протянул Ашанин.

– Нет, я вам сказала, – слабо улыбаясь и избегая его глаз, ответила старая дева.

– Слушаю-с!

Он отвернулся от нее:

– Так не угодно ли *вам* принять эту роль? – обратился он к бойкой барышне.

– Что это, я – старуху? Это было бы оригинально!.. А впрочем, – и она лукаво закусила губу, – сына моего будет играть кто – вы?

– К злополучию моему – нет: *Гамлета* играет Гундуrow.

Но верное чутье подсказывало, как видно, остроглазой девице, что с этой стороны взять было нечего. Она мельком глянула на белокурого молодого человека и слегка нахмурилась:

– Ведь мне главное, чтоб было пение, – а это драма; там не поют?..

– Поет одна *Офелия*, – сказал Ашанин. – Ах, да, княжна, ведь у вас, не правда ли, голос есть?

– И премиленький! – отвечала за нее Ольга Елпидифоровна. – Не такой большой, как у меня, но...

– Где же кому против вас! – неожиданно фыркнул Вальковский, все время молча, с прижатыми между колен ладонями, поглядывавший на нее.

Все рассмеялись невольно; барышня рассердилась было, но вдруг расхохоталась сама:

– Знаете что, на вас и сердиться нельзя! Вы все равно, что тот красный попугай у княгини, который, как только кто мимо пройдет, и начинает самым глупым образом кричать: а-ра, а-ра!.. Что он кричит, что вы грубите – совершенно все одно!..

– Bravo, bravo! – зааплодировал ей Ашанин. – Так ему и нужно, пугалу огородному!..

Вальковский сконфуженно только покосился на них.

V

Большая входная в залу дверь, прямо против сцены, отворилась. На пороге ее показался князь Ларион. Он успел кончить свою прогулку и переодеться, и в сменившем его длинный сюртук светлом, по-летнему утреннем туалете казался теперь еще моложе, чем в первую минуту его встречи с нашими друзьями.

– Кня-азь! – вскрикнула, завидев его, Ольга Елпидифоровна. – К нам, к нам, милости просим!..

– Да к вам как в Царство Небесное пройти мудрено! – смеялся он, приостановившись перед растянутыми на полу декорациями.

– А я вашим ангелом-хранителем буду, проведу, – крикнула она ему, сбегала опростетью со сцены в залу, к великому ужасу Вальковского, и, подобрав на сей раз осторожно свои юбки,

стала пробираться на кончиках несколько грубоватых формою, но тщательно обутых ног по еще не загрунтованным краям полотна.

Она добралась до князя, просунула свою руку под его руку, слегка прижалась к нему и, глядя на него снизу вверх со своею вызывающею улыбкою, проговорила полупрошептом:

– Милый, милый князь, как бы я хотела быть в самом деле вашим ангелом-хранителем?.. Но вы сами ангел! Вы такой добрый, умный, – ну, милый, совсем милый!..

– Вы находите? – рассеянно ответил он, глядя не на нее, а на сцену, и прищутив для этого свои несколько близорукие глаза.

– Эге, вот она куда бьет! – сказал себе Ашанин, от зоркого взгляда которого ничто не ускользало, – и подошел к Надежде Федоровне, сидевшей у кулисы несколько поодаль от стола, за которым княжна и Гундуров пили чай, а «фанатик» пожирал булки одну за другою.

– Так вы так-таки решительно отказываетесь от роли? – сказал он.

Она приподняла на него свои большие, печальные глаза:

– Я вам сказала, я не играла никогда... И не хочу, наконец!.. – с внезапной решимостью промолвила она.

– Даже если бы я вас очень, очень об этом просил? – вкрадчиво и мягко проговорил наш Дон-Жуан, глядя на нее не отрываясь.

Некрасивое лицо бедной девы слабо зарумянилось под этим неуступчивым взглядом...

– Боже мой, – отвечала она не сразу и, как бы перемогая пронимающую ее дрожь, – какой вы удивительный человек!.. К чему вам я!.. Заставьте... – вы все можете! – вырвалось у нее, – заставьте играть эту бесстыдную девчонку, от которой вы без ума! – И она презрительным движением указала на востроглазую барышню, медленно подвигавшуюся к сцене об руку с князем Ларионом.

– Я без ума! – невиннейшим тоном воскликнул Ашанин. – Помилуйте, я в первый раз от роду вижу ее сегодня и даже, кто она, не знаю...

– Она дочь здешнего исправника Акулина, – нехотя объяснила Надежда Федоровна.

– И, как кажется, по части князь-Ларион Васильевича... – не договорил Ашанин.

– Как видите! Я и не воображала никогда, – воскликнула перезрелая девица, – чтобы можно было быть такою дерзкою кокеткой в ее годы!..

– Что же, это не дурно, Надежда Федоровна!

– Да, – с горечью возразила она, – я знаю, вам *такие* нужны, только такие и нравятся!

– И такие нужны, и такие, это точно! – поддакнул он, поддразнивая ее.

– Знаете, – заговорила она после минутного молчания, страстно и в то же время злобно взглянув на него, – я не понимаю, как может женщина решиться полюбить вас!

– Так никто же из них и не решается, Надежда Федоровна! – смиренно вздохнул на это Ашанин. – Вы сами знаете, ну кто меня любит?..

– Подите вы от меня! – проговорила она, отворачиваясь, и невольно усмехнулась.

– А все же вы *Гертруду* играть будете! – заключил он, торжествуя...

Она не отвечала...

Тем временем княжна Лина и Гундуров вели следующий разговор:

– Когда мне Ольга сказала, что *monsieur* Ашанин приехал с каким-то еще молодым человеком, я тотчас же догадалась, что это непременно вы, – говорила она.

Он изумился:

– Почему же так, и как могли вы знать обо мне, княжна?

– Я знаю через m-г Ашанина, который беепрестанно говорил нам о вас зимою, – Лина усмехнулась, – что вы его друг, а ваша тетушка сказала нам, что вы должны на днях приехать из Петербурга.

– Вы знаете мою тетушку? – еще более удивлен был Гундуров.

– Да. Мы были у нее с татап. Дядя давно с нею знаком и очень любит ее, а теперь повез и нас. Она и папа покойного хорошо знала. Я очень рада, что с нею познакомилась, – промолвила княжна с каким-то особым оттенком серьезности.

– И я понимаю вас, – с увлечением сказал Гундуrow, – тетушка моя чудесная женщина!..

Она отвела голову от чашки, низко наклонясь к которой, прихлебывала чай своими свежими губами:

– Вы это очень хорошо сказали! – с ласковой улыбкой проговорила она.

У нее были какие-то *лебединые*, медленные – как медленна была и ее речь – повороты шеи, которые приводили в восторг Гундуrowа. «Какая это дивная вещь, женская грация!» – думал он.

– Я сказал, что чувствую, – произнес он громко, – я не помню ни отца, ни матери; тетушка с пелен возрастила меня, спасла мое наследство от гибели... Я ей всем обязан!..

Княжна сочувственно покачивала своею осененною золотистыми косами головою:

– Она именно на меня такое впечатление произвела, ваша тетушка, что она думает и поступает *хорошо*...

– Как это ужасно, – начала она, помолчав опять, – что вас за границу не пустили!..

– Да! – и глаза у Гундуrowа мгновенно заискрились. – Это удар для всего моего будущего! И за что, за что? – воскликнул он в неудержимом порыве. – Оторвали человека от всего, что было для него жизнью, связали по рукам и по ногам...

Он не договорил. Княжна внимательно поглядела на него...

– Я, – тихо промолвила она, – все жила за границей до сих пор, сужу по тамошним понятиям, – там даже никому в голову не придет, чтоб можно было так поступить с невиноватым человеком... Знаете, я очень люблю мое отечество и так рада, что мы наконец в России! Но это ужасно, когда...

Она вдруг задумалась. Гундуrow, в свою очередь, поднял на нее глаза с каким-то благоговением.

– Вы *будете* играть *Гамлета*? – спросила она через миг.

Он помолчал, еще раз глянул на ее опущенные веки:

– Буду, княжна! – произнес он, будто только теперь окончательно решившись. – И я как-то надеюсь, что я вам от этого не покажусь смешным... А посмеетесь – грех вам будет! – примолвил он, налаживаясь на шуточный тон и слегка краснея. – Признаюсь вам, я бы не решился в другую минуту, – но мне надо уйти от тоски... от того, что чуть с ума не свело меня там... в Петербурге... Вот тем оно и дорого, тем велико искусство, княжна, – горячо звучал голос молодого человека, – что в него, как в святую святых, можно уйти и позабыть там все, что гложет, мутит, снедает здесь наше я...

Он остановился вдруг с невольным сомнением: не покажется ли ей это слишком горячим, *юношеским*, – ему вдруг ужасно страшно стало, что она *не поймет*, не поймет того, что именно заставляет его решиться выступить на сцену в незнакомом доме, приняться за то, что обыкновенно почитается делом одних «праздношатающихся пустых светских людей»...

Но в сосредоточенном внимании, с которым слушала она его, ему как-то разом сказалось, что никто в эту минуту не был в состоянии так *понять* его, как эта *светская* девушка, с ее спокойным обликом и неулыбающимся взглядом.

– Постарайтесь сыграть хорошо, – сказала она просто, – мне так хочется видеть его на сцене. Я читала «Гамлета»... Настоящего! – подчеркнула Лина. – У меня был в Ганновере учитель английского языка, старик; он меня очень любил и подарил мне всего Шекспира: «дурное к вам не пристанет», – говорил он. И, в самом деле, я всегда так думала, что дурное только к дурным пристаёт... Вы, однако, не говорите об этом всем... многие не понимают... Да вы и не скажете, – я знаю! – своим особым серьезным тоном заключила, не договорив, княжна, – и пошла навстречу подымавшегося на сцену дяди.

Он взял ее руку:

– Bonjour Héléne¹ (он никогда не называл ее уменьшительным именем), так рано, и здесь?.. Я никак не ожидал... Ты здорова? – И он заботливо, почти тревожно глянул ей в лицо...

– Совершенно здорова! – не дала ей ответить Ольга Елпидифоровна, – это мы еще вчера с Линой сговорились встать в шесть часов, – pour vous faire plaisir, mon prince²! – низко, по-театральному, присела она перед ним.

– В самом деле, Héléne? – Он блеснувшим на миг взором обратился снова к племяннице, – ты... вы *для меня* это сделали?..

– Еще бы! – крикнула барышня.

– Для вас, дядя, именно для вас! – И княжна закивала ему улыбаясь.

Он стал как-то чрезвычайно весел и шутлив:

– Сергей Михайлович, очень рад видеть вас опять!.. Вы познакомились с Еленой Михайловной?.. А этой птичке певчей были вы представлены? – указал он на востроглазую девицу, не перестававшую вертеться около него. – Рекомендую – русские романсы поет восхитительно!..

Черноглазая барышня сжала свои крупные губы:

– Monsieur Гундуrow не обратил на меня никакого внимания.

– Он слишком молод, – улыбнулся князь Ларион, – чтобы уметь оценить все ваши совершенства: только такие старцы, как я...

– Вы старик, вы! – перебила его барышня, воззрясь на него нежно упрекающим взглядом. – Вы просто кокетничаете своим старчеством!

Князь нахмурился и повел на нее холодными глазами, – отчего она, впрочем, нисколько не смутилась:

– Да, да, кокетничаете! – повторяла она.

– Что же, Сергей Михайлович, – отходя от нее, спросил князь Ларион, – вы порешили насчет «Гамлета»?

– Ах, да, дядя, пожалуйста, – молвила княжна Лина, – мне этого так хочется...

Он глянул ей опять прямо в лицо, как-то задумчиво усмехаясь и не отводя от нее взгляда:

– Could beauty, my lord, have better commerce than with honesty?⁵ – медленно проговорил он и обернулся к Гундуrowу.

– Удивительно говорила это и вела всю эту великолепную сцену с принцем одна очень молоденькая тогда девочка, дочь, кажется, знаменитой mistriss Siddons, сестры Кембля³, которую я видел в 1821 г. в Лондоне. До сих пор эти слова, выражение ее остались у меня в памяти...

– Так можно будет, дядя? – спросила его опять княжна.

– Можно, Héléne, можно, – он пожал ей руку, – и я даже готов не пропускать ни одной из ваших репетиций, – если только присутствие мое не будет в тягость вашему молодому обществу, – любезно примолвил князь, обращаясь к нашим друзьям...

– Звонят! – послышался внезапно голос Вальковского, который тем временем заснул «под тенью кулис»⁴ во всем безмятежии непорочной души.

– К завтраку, – это, кажется, по вашей части, Иван Ильич? – досказал весело князь Ларион.

– Боже мой, – воскликнул Гундуrow, – а я еще не уехал!..

Все рассмеялись.

⁵ Офелия: Для красоты, принц, не лучшая ль подруга чистота? Акт III. Сц. 1.

– И прекрасно сделали, – княгиня Аглая Константиновна вам бы этого никогда не простила!.. Mesdames⁵, господа, пожалуйста! – приглашал князь. – Сергей Михайлович – вашу руку княжне!..

Бойкая барышня шагнула к нему:

– Ваше сиятельство не откажете мне в чести быть моим кавалером? – прошептала она «птичкой певчею»...

Князь Ларион поглядел на нее с полуулыбкой:

– Позвольте вам предложить более *подходящего* для вас спутника, – подчеркнул он, указывая на Ашанина... – Пойдемте, Иван Ильич!..

Надежда Федоровна прошла одна, за всеми, с поникшим челом и своею вечно горькою усмешкой и отправилась к себе, в третий этаж.

VI

Хозяйка дома – расплывшаяся сорокалетняя барыня с крупным, еще свежим лицом и *сладкими*, томно вращавшимися глазами, которым как-то странно противоречил весьма заметный пушок, темневший над ее твердо очерченными полными губами, – уже кушала чай, когда молодое общество с князем вошло в столовую. Она была не одна. У длинного стола, сверкавшего лоснящимся блеском свежей узорчатой скатерти и уставленными на ней всякими серебряными мисками, кастрюлями и приборами, занимали места несколько человек гостей, прибывших в Сицкое за несколько дней ранее наших приятелей. Одесную княгиню, с понуренным видом обмакивая длинно нарезанные ломтики хлеба в яйцо, сидел некто Зяблин, *разочарованный* и разоренный московский лев, господин с большим грузинским носом и отличными, цвета воронова крыла, бакенбардами, – «неудавшийся Калабрский бригадир»¹, – говорил про него князь Ларион. По другую ее руку попрыгивал на своем стуле, что-то рассказывая ей и громко хохоча своему собственному рассказу, «шут Шигарев», как относился о нем Ашанин, – один из тех счастливых, которых щедрая природа одарила способностью воспроизводить с изумительным сходством жужжанье мухи под ловящими ее пальцами, визг отворяемой табакерки на деревянных шалнерах, бляение овцы и мяуканье кота, доставать языком кончик собственного носа и тому подобными салонными талантами; комик на сцене он был превосходный, а наружностью своей напоминал болотную птицу вообще и пигалицу в особенности... На противоположном конце стола, рядом с *т-те* Crébillon, экс-гувернанткой самой Аглаи Константиновны, живую старушкою с густыми седыми бровями под тюлевым чепцом, белелась золотушная и чухонская физиономия Ивана Карлыча Мауса, молодого малого, выпущенного недавно из училища правоведения, в котором отец его был доктором. Юный Иван Карлыч сознавал, по-видимому, вполне это двойное преимущество: быть немцем – раз, и выпущенником заведения, имеющего поставлять на Россию государственных мужей, – два: а потому, хотя пока и занимал лишь скромную должность губернского стряпчего, держал себя так внушительно важно и рассеянно дельно, как будто и в самом деле был уже министром юстиции... Однако меж незанятых еще стульев ежился, словно боясь притронуться к своему прибору, длинный, невзрачный уездный землемер, вытребованный владелицею Сицкого для какого-то размежевания. Наслаждаясь его робким видом, нагло ухмылялся стоявший прямо против него *monsieur Vittorio*, не то итальянец, не то бельгиец, рослый и видный из себя, лет сорока франт, бывший курьер покойного князя, теперь *factotum* и мажордом² княгини.

– Откуда вы? – с некоторым удивлением спросила она, увидав дочь об руку с незнакомым ей молодым человеком.

– Сергей Михайлович Гундуров, племянник Софьи Ивановны Переверзиной, – громко и несколько торжественно, указывая на него рукою, представил его князь.

Востроглазая барышня не дала княгине ответить: она с разлету бухнулась на колени перед ее креслом, схватила ее руку:

– Милочка моя, княгинюшка, прелесть моя, хорошо ли вы провели ночь? – проговорила она вкрадчивым, шутливо ребяческим голосом.

– ³Mersi, petite, mersi, – отвечала та жалобным тоном, – я давно разучилась спать, *se qui s'appelle dormir, vous savez...* но мне лучше сегодня, *mersi*³!.. – Настоящая кошечка! – поощрительно улыбнулась Аглая Константиновна и ласково провела рукой по ее щеке. – *Levez vous donc, petite*³!

– *Enchantée de vous voir chez moi, monsieur*⁴, – нашла она наконец время обратиться ко все еще стоявшему перед ней в выжидательной позе Гундурову.

– Извините, княгиня, – заговорил он, – что я осмеливаюсь предстать пред вами в таком неприличном виде, – он указал на свое дорожное пальто, – но я здесь совершенно сюрпризом, и на виноватого в этом я прямо вам указываю в лице князя Лариона Васильевича, которому угодно было удержать меня на пути...

– Без извинений и садитесь, – любезно перебила она его: ей понравились и благообразная наружность молодого человека и это его извинение, которое она находила *bien tourné*⁵, и даже то, что он сказал «предстать *пред вас*», а не «перед вами», – оборот, который, в ее понятии, употреблен был им для выражения особой к ней почтительности.

– А у меня и извинения никакого нет! – заговорил Ашанин, также не успевший переменить свой дорожный костюм. – Кладу на плаху повинную голову! – Он низко наклонил ее к руке княгини.

– *Toujours beau*⁶! – И она прижала сама эту руку к его губам: она питала слабость к Ашанину, как вследствие того, что «он так хорош» был, так и потому, что он неподражаемо умел сообщать ей на ухо разные скабрзные анекдоты, до которых она, как всякая несколько пожившая женщина, была *in petto* большая охотница.

Общество между тем рассаживалось за стол.

– Позвольте вам предложить мое место, княжна, – молвил Зяблин беззвучным и мягким, напоминавшим о сдобном тесте, голосом, странно противоречившим его наружности «Калаброского бриганта».

– Благодарю вас, – улынулась ему, проходя мимо, Лина – и, окинув стол быстрым взглядом, пошла занять место рядом с одиноко сидевшим землемером, с которым тотчас же завела какой-то разговор.

Зяблин испустил глубокий вздох – налил себе рюмку портвейну.

– Садитесь подле Лины, там свободно!.. – сказала княгиня Гундурову, искавшему глазами места...

Он поспешил повиноваться... Сердце у него внезапно забилося – сам он не решился бы пойти сесть подле нее, он чувствовал...

– Видели вы меня во сне, как обещались, *monsieur Maus*? – спрашивала Ольга Елпиди-форовна, опускаясь на стул между ним и Ашаниным и развертывая свою салфетку.

Правовед повернул голову, и под угол его зрения попало сразу нечто очень красивое, упругою волною ходившее под прозрачным кисейным лифом его соседки. Он вспыхнул как лучина и так и замер от этого зрелища.

– Давно ли вы онемели? – несколько насильственно засмеялась, опустив глаза, барышня, от которой никогда не ускользали впечатления, производимые ее красотою.

– Я сегодня очень крепко спал, – отшутился Маус, глядя на нее с телячьей страстностью и внушительно уходя подбородком в неизмеримо высокие воротнички своей рубашки.

– Так постарайтесь не спать так крепко в другой раз! *Il est bête donc*¹! – шепнула она, обернувшись к Ашанину.

– Кого вы дураком не сделаете! – отвечал он ей на это таким же шепотом.

– Ну, пожалуйста, только не вас!

– Почему вы знаете?

– Точно я в Москве не бываю, не слыхала про вас? Да мне все про вас известно!

– А что именно? – усмехнулся Ашанин.

– А то, что вы как есть – *прожига!* – объяснила барышня с звонким смехом. – Мне еще надобно будет вами специально заняться, – промолвила она, грозя ему пальцем.

Ашанин так и ожег ее горячим взглядом:

– А вы дадите мне слово заняться мною *специально?* – едва слышным, проницающе-нежным голосом подчеркнул он.

Она взглянула на него... В глазах ее на миг блеснул тот же пламень, которым пылали глаза красавца... Она быстро отвела их от него и, вся заалев:

– Не знаю, – как бы проронила она... – Только вы мне не мешайте! – вырвалось у нее вдруг, – а то он, кажется, вас ревнует...

И она еле заметно кивнула в сторону князя Лариона, безмолвно и ни на кого не глядя прихлебывавшего в эту минуту чай из большой чашки.

– А вы надеетесь?... – не договорил Ашанин и закусил губу, чтобы не рассмеяться...

– Почему же нет!.. Он старик: тем лучше! Ведь вы не женитесь на мне! – так и озадачила она его этою откровенностью. – Не отговаривайтесь, пожалуйста, – засмеялась бойкая особа его невольному замешательству, – я ведь умна – и вы тоже, кажется... Вам и не следует! Есть такие мужчины, которым никогда не следует связывать себя...

– А женщины есть такие? – спросил он, усмехаясь в свою очередь.

– Женщина только тогда и свободна, когда замужем, – отвечала без улыбки она на это.

– Et uo est donc le jeune prince⁸? – послышался в это время громкий вопрос княгини.

Monsieur Vittorio, к которому относились эти слова, кинулся было к дверям... Но в ту же минуту в столовую вошел сам le jeune prince, то есть сын княгини, мальчик лет одиннадцати, с замечательно для его лет определившимися, холодными чертами лица, очень напоминавшего лицо матери, тщательно причесанный и разодетый. Его сопровождали два его наставника: молодой, здоровый англичанин, гувернер, и еще более молодой студент, взятый княгиней из Москвы на лето «для русского языка».

– Ты всегда опаздываешь, Basile, – заметила княгиня сыну, целуя его в щеку.

– Я одевался, маман! – отозвался он с недовольным тоном, словно правый.

– Очень заботлив всегда насчет своих туалетов! – вполголоса и улыбаясь сообщила княгиня соседу своему Шигареву.

– Мальчик, известно, рано встающий, сам себя умывающий! – немедленно загаерничал тот. – Князенька, золотая шапочка, шелкова кисточка, дайте свою ручку бриллиантовую!

Мальчик положил нехотя руку в протянутые пальцы Шигарева; он их тотчас же стиснул и шелкнул языком, изображая звук прихлопнувшегося замка.

Князек спокойными глазами глянул ему в лицо, высвободил руку и пошел садиться в сопровождении своих надзирателей.

– Лина, – сказал он прямо против него сидевшей сестре, – ты в театре была?

– Почему ты знаешь? – улыбнулась она.

– Семен Петрович мне сказал, – он кивнул на усаживавшегося подле него студента, – он все время глядел на тебя из-за занавески, когда ты шла.

Студент покраснел до самых волос и пробормотал что-то, чего никто не расслышал...

– Да, я была в театре, – сказала княжна и опять заговорила с землемером.

– И она была! – начал снова мальчик, указывая кивком на Ольгу Елпидифоровну. – Что вы там все делаете?

– Мы там театр будем играть, душечка! – отозвалась бойкая барышня.

– Вы *актерками*, стало быть, будете?
– Актерками, ангел мой, актерками. Какая душка! – И она расхохоталась на весь стол.
– А я ни за что не хочу быть актером! – с презрительной гримаской проговорил Basile.
– Не актером, бретером будешь, всех шпагой насквозь, – заголосил опять Шигарев, – князек-петушок, золотой гребешок... длинь, длинь... – И, схватив два ножа, он принялся подражать сабельному лязгу.

– Я флигель-адъютантом буду! – твердо произнес князек.

Безмолвный до сих пор князь Ларион поднял глаза на племянника:

– А чтоб выбить это из твоей одиннадцатилетней головы, – протяжно проговорил он, – я бы тебя сек по два раза в неделю.

Мальчик весь переменялся в лице. Слезы выступили у него на глазах и, обернувшись к студенту:

– Когда я буду большой, – прошептал он со злобою в горле, – я дядю в тюрьму посажу!..

– Nonsense⁶! – отрезал ему на это с другой его стороны сидевший mister Knocks – и потянул к себе кастрюльку с картофелем.

Княгиня Аглая Константиновна сочла нужным вступить за сына:

– Я не понимаю, за что вы его разбранили, князь Ларион, – молвила она, перегинаясь к нему через стол, – ⁹le pauvre enfante сказал только очень понятное в его годы... и похвальное, je trouve, желание... Мне кажется, bien au contraire, – qu'il faut encourager dès le jeune âge les nobles ambitions⁹...

Князь Ларион поглядел на нее сверху вниз:

– У вас такие единственные есть словечки, княгиня, – проронил он, насмешливо склоняя голову, – что остается только ахнуть и смолкнуть...

Аглая Константиновна растерянно заморгала глазами – она ничего не поняла!..

– Il est unique, Larion, n'est ce pas¹⁰? – попробовала она поискать сочувствия у соседа своего Зяблина.

Зяблин взглянул на нее, опустил глаза, потом опять взглянул – уже нежно – и испустил глубокий вздох... Он тоже ничего не понял.

Княжна до сей минуты еще ни одним словом не обменялась с Гундуrowым. Вдруг она обернулась к нему... Лицо ее было бледно, веки покраснели...

– Если бы папа был жив, этого бы не было! – проговорила она и снова отвернулась.

Чего *этого*, спрашивал себя Гундуrow, хотела она сказать? Этого ли суетного направления воспитания ее брата или этих оскорбительных для ее матери слов? И того и другого, вероятно... Он уже настолько угадывал ее, что, в его понятиях, она могла, *должна* была страдать и от того и от другого. Но чем и как помочь ей? Что мог сделать для этого он, Гундуrow?... А между тем он уже ясно чувствовал, он готов был на *все*... чтобы только никогда не дрожали слезы на *этих* глазах.

– Qu'est-ce que vous allez donc jouer à votre théâtre¹¹? – обратилась через стол к княжне старушка m-me Crébillon, которая изо всего предшествовавшего поняла только то, что речь идет о театрах и актерах.

– Hamlet, madame¹², – получила она в ответ.

– Ah bien! la tragédie de Ducis¹³! – закивала она, предовольная, седую головой.

– Ноô, hoô! De Dioucis... Hamlet de Dioucis¹⁴! – заходил вдруг весь от смеха мирно до сих пор поедавший картофель mister Knocks.

⁶ Вздор.

– ¹⁵Eh bien, qu'a t-il donc à rire comme cela, l'Anglais? – закипятилась обиженная французка. – Je dois, pardié, bien le savoir, moi, puisque feu monsieur Crébillon, mon mari, était un descendant direct de Crébillon, le fameux auteur de *Rhadamante*, dont Ducis était le disciple, et que j'ai moi-même vu jouer la pièce à Paris en dix, huit cent dix, – *l'omelette*, comme disaient les rieurs du temps⁻¹⁵...

– Hamlet de Dioucis, hoô, hoô... de Dioucis!! – продолжал надрываться mister Knocks.

– ¹⁶Il y a deux tragédies, – почел нужным объяснить своей соседке господин Маус, – и с достоинством поглядел на нее с высоты своих воротничков, – une française, et une anglaise⁻¹⁶.

– ¹⁷Ah, bien! on l'aura traduite en anglais alors! – успокоилась старушка, – mais il n'est pas poli toujours, le *jaune boule* (т. е. John Bull)⁻¹⁷, – проворчала она, поглядывая искоса на все еще покатывавшегося англичанина.

– Маман, – сказала, подымаясь со своего стула, княжна, – сегодня воскресенье...

– Ах, да-а! – протянула княгиня. – Надо в церковь!.. Vittorio, les voitures¹⁸! – помолчав с минуту, скомандовала она, словно на погребение.

– Я уже дал приказ, – отвечал с поклоном распорядительный итальянец.

Она одобрительно и грустно кивнула ему, обернулась к Зяблину и вздохнула:

– Как это неприятно, когда нет домово́й церкви!.. – Зяблин приподнял свое разбойничье лицо, поглядел на нее нежно и тоже вздохнул.

– А ехать надо! – томно проговорила княгиня и поднялась с места.

Послышался шум отодвигавшихся стульев... Гости подошли с поклоном к хозяйке... Княжна и Ольга Елпидифоровна пошли надевать шляпки... Проходя мимо князя Лариона, Лина приостановилась на миг:

– Дядя, а я вас так просила! – тихо промолвила она, не подымая глаз.

Он понял – и смутился:

– Ты сердишься на меня, Néle! – его голос дрогнул. – Ну, виноват, руби голову! – добавил он каким-то неверно-шутливым тоном.

Она прошла, не отвечая.

Гундуров тем временем прощался с княгиней.

Она с чрезвычайной любезностью благодарила его за посещение и изъявила желание увидеть его опять как можно скорее.

– Кланяйтесь, je vous prie¹⁹, очень, очень вашей тетушке, – говорила она, – я весьма благодарна князь-Лариону за знакомство с нею. C'est une personne si comme il faut²⁰... Она еще *не была у* меня, – слегка подчеркнула Аглая Константиновна, – но я надеюсь, что вы нам ее привезете, n'est ce pas²¹? и что вы примете также участие в нашем театре? Но, – перебила она себя вдруг, – мы едем в церковь, и об этом не следует говорить! Il ne faut pas mêler le profane au sacré, a dit, je crois, Boileau²²...

И, дав таким образом молодому человеку достаточное понятие о своей образованности, она величаво наклонила голову в знак того, что аудиенция его кончена.

Гундуров вышел на крыльцо с Ашаниным и Вальковским.

VII

Who ever lov'd who lov'd not at first sight!
Shakspeare.

– Я бы проводил, Сережа, тебя до деревни, – сказал ему первый, – да у вас, чай, с Софьей Ивановной много есть кое-чего своего перетолковать на первых-то порах, так чтоб не помешать вам?..

– Д-да, пожалуй, – отвечал Гундуrow, – да и тебе-то отсюда не хочется?

Он засмеялся.

– Ну вот! – отнекивался тот.

– А удалая эта девица, брюнетка, как ее звать-то?

– Акулина – не Акулина, а Ольга, и к тому же Елпидифоровна... Да, брат, – Ашанин повел губами, – эта особа далеко пойдет!..

– Пролаз-девка, коротко сказать! – отрезал Вальковский.

– А ты хаять-то ее погоди, чучело китайское! – крикнул на него красавец. – Как ты ее грубостями своими доведешь, что она с тобой играть наотрез откажется, что ты тогда скажешь, чурбан эдакой? А мало ль у вас с нею водевилей с хорошими для обоих ролями? ² «Барская спесь», «Хороша и дурна»...

– Ну, что в этой? – перебил Вальковский. – Стряпчего роль: «Здравствуй, кум ты мой любезный, здравствуй, кумушка моя!» Ведь и вся тут...

– А «Лев Гурыч Синичкин» ²?

– Ну, да. Как раз по тебе роль!

– *Лев Гурыч!* – повторил, словно осененный свыше, «фанатик». – Да, братцы, это роль хорошая... совсем она у меня из головы вон! Давно следовало бы мне попробоваться в ней! Это точно, хорошая роль, братики!..

И расцветший душою Вальковский заходил по крыльцу, соображая, *что* он сделает из роли *Синичкина*...

– Ну, а теперь, Сережа, – сказал Ашанин, глянув приятелю прямо в лицо, – что ты мне про княжну скажешь?

Гундуrowу стало вдруг ужасно досадно на него за этот вопрос.

– Ничего не скажу! – отрезал он, отворачиваясь. Брови Ашанина тревожно сжались; он хотел что-то сказать – и не успел: сама княжна с Надеждой Федоровной и бойкой барышней выходили на крыльцо в шляпках и мантильях, готовые к отъезду.

– Вы с нами или домой? – спросила Лина, идя к Гундуrowу и застегивая на пути перчатку на своей длинной руке.

– Мне *надо* ехать, княжна! – через силу отвечал он.

– Да, вам надо... Поезжайте! – сказала она, не отрывая глаз от своей перчатки. – А когда назад? – спросила она, помолчав.

– Скоро, очень скоро! – вырвалось у Гундуrowа.

От нее ускользнуло или не хотела она понять, что именно сказывалось за этими вылившимися у него словами; – безмятежно по-прежнему подняла она на молодого человека свои длинные синие глаза и так же безмятежно улыбнулась.

«Les voitures», как торжественно выражалась княгиня Аглая Константиновна, то есть большая, открытая, четвероместная коляска четверкой с фореитором, и *долгуша*, обитая сероватым солдатским сукном с шерстяными басонами ³, в которой могло усесться человек до двадцати, линейка, запряженная парой рослых лошадей, – подъехали к крыльцу. За ними вели кровную английскую кобылу рыжей масти под верх князю. Коляска Гундуrowа со всем его багажом и слугою на козлах следовала позади.

– Me voilà ⁴! – послышался голос самой хозяйки тяжеловато – она, как говорил про нее Ашанин, была несколько «телом обильна» – спускавшейся с лестницы. Разубрана она была, точно сейчас с модной картинки соскочила...

Щегольски одетый грумом мальчик лет двенадцати бежал перед нею с перекинутым на одной руке пледом и богато переплетенным в бархат, с золотым на нем кованым вензелем ее под княжеской короной молитвенником в другой.

Она подошла к коляске. Стоявший у дверец видный, высокий лакей в новешенькой ливрее одних цветов с грумом и *monsieur Vittorio* во фраке и белом галстуке, с обнаженной головой, почтительно с обеих сторон, подсадили ее сиятельство под локти. Грум поспешно разостлал на ее колени толстую ткань пестрого пледа и вскочил с молитвенником к кучеру на козлы; дюжий лакей сановито полез на заднее сиденье...

– Вы за нами? – с любезною улыбкою обратилась княгиня из коляски к вышедшему на крыльцо с Шигаревым и князьком Зяблину, пока подле нее усаживалась Надежда Федоровна и занимали наперед места княжна и девица Акулина.

Зяблин нежно покосился на нее, уныло кивнул головою и испустил глубокий вздох.

– Et vous, Larion⁵? – И Аглая Константиновна заискивающим взглядом глянула на деверя, садившегося в это время на лошадь.

– Поручаю себя вашим молитвам! – сухо ответил он, осаживаясь на стременах.

Коляска тронулась. Княжна медленным движением головы поклонилась Гундурову.

Мужская компания с князьком и его студентом отправились на *долгущу*.

– До свиданья, Сережа, приезжай скорее! – кричали ему друзья.

Он глядел на удалявшуюся коляску... Он ждал еще раз взгляда, «прощального» взгляда княжны, – точно они навеки расставались...

Но коляска заворачивала под *льва*, и, кроме головы лакея в шляпе с ливрейною кокардой, никого уже в ней не было ему видно... Он отправился к своему экипажу.

Князь Ларион поглядел ему вслед. Какая-то невеселая улыбка заиграла в углах его тонких, поблеклых губ. словно что-то давно, давно погибшее, милое и печальное промелькнуло пред ним... Он дал повод и, проезжая мимо молодого человека, ласково кивнул ему головою.

Гундуров поспешил снять шляпу...

Миновав пышно зеленевшие на трехверстном пространстве поля Сицкого, экипаж его въехал в граничивший с ними большой казенный лес, доходивший почти до самого его Сашина и о котором он с детства хранил какое-то жуткое и сладкое воспоминание... Лес весь звенел теперь весенним гамом и птичьим свистом... Дорога пошла плохая, и коляска пробиралась по ней шажком, хрустя по валежнику, накиданному на топких местах. Лошади весело фыркали и потряхивали гривами, потягивая широко раздутыми ноздрями влажный лесной воздух. Большие мухи, сверкая на солнце изумрудными спинками, прилежно перебирали ножками на листьях еще низкого лопушника. Меж корявых сосновых корней роились в забиравшейся мураве белые, как снег, колокольчики ландышей... Гундуров велел остановиться, выскочил, нарвал их целый пучок и жадно погрузил в них лицо. Их раздражающе-свежий запах кинулся ему как вино в голову... Он откинулся затылком в спинку коляски и стал глядеть вверх. Там, над ним, узкою полоской синело небо, бежали жемчужные тучки, и по верхушкам берез, золотимые полднем, дрожали нежные молодые листы... Ему вдруг вспомнилась ария, слышанная им зимою в Петербурге, – ее вставлял Марио в какую-то оперу... И Гундуров, как накануне Ашанин, нежданно запел во весь голос:

Io ti vidie t'adorai⁶!..

Старый Федосей, не привыкший к таким *пассажам* со стороны барина, недоумело поглядел на него с козел... А-и-и... – ответило где-то вдали, в самой глубине леса. Испуганный тетерев, словно свалясь с ветки, зашуршал в кустах торопливыми крыльями... А запах ландышей все так же невыносимо-сладко бил в голову Гундурову, и лес гудел вокруг него всеми весенними голосами своими...

О, молодость, о, невозвратные мгновения!..

VIII

«Хорошая» действительно была женщина Софья Ивановна Переверзина, тетка Гунду-рова. И наружность у нее была соответствующая, – почтенная и привлекающая. Воспитанница Смольного монастыря лучших времен Императрицы Марии Федоровны¹, она, несмотря на долголетнюю жизнь в деревне, сохранила все привычки, вкусы, весь склад хорошего воспитания. Врожденная в ней живость нрава умерялась постоянною привычкою сдержанности и обдуманности, приобретенною ею в тяжелой жизненной битве. Софья Ивановна смолоду перенесла много горя. Дочь небогатых потомков когда-то боярского рода Осмиградских, вышла она, лет под тридцать, замуж за пожилого, изувеченного генерала, старого друга ее семейства, к которому искренно привязалась она в благодарность за глубокое, богомольное обожание, которое он с самого детства ее питал к ней. То, что в этом браке заменяло счастье, спокойное, безбедное существование, продолжалось для нее недолго. Муж ее занимал довольно важное место в военной администрации. Доверчивый и недалекий, он был опутан своим правителем канцелярии, дельцом и мошенником, и, – что говорится, как кур во щи, – попал в один прекрасный день под суд за растрату в его управлении значительной казенной суммы, постепенное исчезновение которой виновный умел необыкновенно ловкими и дерзкими проделками, в продолжение целых годов, скрывать от близорукого своего начальства. Бедный старик не перенес павшего на него удара, не перенес ужасных для него слов, сказанных ему по этому поводу одним очень высокопоставленным лицом, покровительством которого он долго пользовался: «Ваше превосходительство, вы обманули *личное* к вам доверие Государя Императора»; – он скончался скоропостижно, не успев принять никаких мер к обеспечению судьбы своей жены. Все его состояние пошло на удовлетворение наложенного на него начета... После трех лет замужества Софья Ивановна осталась вдовою чуть не нищею. Родителей ее уже не было на свете; брат, человек семейный, служил в Петербурге и на извещение сестры о постигшем ее горе отвечал письмом на четырех страницах, исполненным чувствительных фраз, но в котором ни о помощи, ни о пристанище ни словом не упоминалось. Но в то же время она получила другое, сердечное письмо от младшей сестры своей, Гундуровой, горячо звавшей ее к себе, «в Сашино, в свой рай земной», как выражалась она. Александра Ивановна Гундунова, почти одновременно с Софьей Ивановной вышедшая замуж по любви за молодого, образованного соседа-помещика, была красивое, восторженное и нежное создание, страстно любимое мужем, для которого действительно жизнь до тех пор была земным раем... Не успела поселиться у них Софья Ивановна, как однажды осенним утром Михаила Сергеевича Гундунова принесли бездыханного с охоты: – он сам застрелил себя, неосторожно перескакивая через канаву с ружьем, взведенным на оба курка... Александра Ивановна увидела это безжизненное тело, кровь, еще сочившуюся сквозь простреленную охотничью куртку, – и, не крикнув, упала как сноп на труп мужа... Через три месяца не стало и ее. Ей было двадцать лет, мужу двадцать семь. Как две падучие звезды, мелькнули на миг эти молодые жизни – и исчезли... На руках Софьи Ивановны остался полутораговой Сережа... Над именем малолетнего назначена была опека. В опекуны напросился и назначен был двоюродный брат покойного Михаила Сергеевича, отставной гусар, игрок и кандидат предводителя. В три года достойный этот родственник чуть не разорил вконец вверенное ему сиротское имение. Неопытная Софья Ивановна нашла в сознании своего долга, в любви к младенцу, которого она осталась матерью, достаточно силы, чтобы войти с этим господином в открытую и упорную борьбу. Благодаря отчасти некоторым связям, имевшимся у нее в Петербурге, отчасти старику князю Шастунову, отцу князя Лариона, пользовавшемуся большим влиянием в губернии, и которого заинтересовало положение молодой вдовы, победа осталась за нею. Опекун был удален и сменен другим, избранным самою Софьей Ивановной, которая, на самом деле, сделалась единственною управительницею наследства пле-

мянника. Обязанностям, возлежавшим теперь на ней, она отдалась вся, – а обязанности эти были не легки. В последние месяцы своего управления опекун-гусар, отчаявшись сохранить долее власть в руках, запутал со злости дела так, «чтобы сам черт», говорил он, «концов в них не доискался». Софья Ивановна после него не нашла в конторе ни гроша денег, ни книг, ни счетов, ни документов первой важности по процессу, затеянному еще деду малолетнего одним крючкотвором-соседом и который в это время находился на рассмотрении сената... Какими чудесами терпения, сметливости, бережливости, каким неустанным трудом, какою ежечасною заботою успела выпутаться из этого положения молодая женщина, мы читателю передавать не будем. Ему достаточно будет знать, что ко времени вступления Сережи в отрочество процесс его был выигран и тетка его располагала уже достаточными средствами для широких расходов на его образование; к его совершеннолетию имение его было чисто от долгов: он владел, по тогдашнему способу определения, пятьюстами незаложенных душ, и правильное устройство его хозяйства давало от восьми до десяти тысяч рублей серебром дохода. Как бесконечно счастлива была, передавая ему в этот день отчеты, Софья Ивановна!..

Она любила племянника со всем пылом горячий, всю себя сосредоточившей на одном предмете души; она гордилась им, его здоровой головой, его чистым, гордым сердцем. Его успехи, карьера, им избранная, были ее делом, – делом, неуклонно веденным с самых юных его лет. С тех пор еще из деревенской глуши своей Софья Ивановна верным и зорким взглядом следила за событиями. 1825-й год был недалек и памятен ей; роковые последствия его для русского общества были для нее очевидны. Запуганная мысль пряталась по углам; на свет Божий выступало казарменное, тупое безмолвие... Не раз просиживала по целым часам Софья Ивановна над кроватью заснувшего Сережи, задумавшись над вопросом: «Как воспитать в этом ребенке *человека* и тем самым в то же время не приготовить ему гибели в будущем?» По мере того как рос Сережа – мальчик оказывался даровитым и прилежным, – возрастала и тревога ее за него, за это его будущее... Случайный разговор разрешил ее недоумение. Приехав однажды навестить больного старика Шастунова, – к которому сохраняла она доброе чувство со времен войны своей с опекуном-гусаром, – она застала у него сына его, князя Михайлу, прискакавшего из-за границы по первому извещению о болезни отца, с тем, чтобы отвезти его в Карлсбад, куда старик ездил каждый год и где вскоре за тем он и умер... Молодой тогда еще дипломат и Софья Ивановна, видевшая его в тот день в первый раз, проговорили вдвоем целый вечер. Он был недавно женат, занимал уже видное место при посольстве в Лондоне, но из-за его небрежно-насмешливых речей просвечивала какая-то глубокая внутренняя тоска и недовольство своим положением. «Если бы мне теперь приходилось начинать жизнь сначала, – говорил он между прочим, невесело смеясь, – я бы непременно сделал из себя какого-нибудь ученого геолога и кристаллографа. Во-первых, это благонамереннейшая из всех специальностей, – и я еще не знаю ни одного примера, чтобы такой господин попал в Сибирь иначе, как по собственной охоте, науки ради; а во-вторых, – и это главное, – человек поглощается весь интересами абстрактного содержания, которые... которые не дают ему времени додуматься до отчаяния», – глухо, как бы про себя, примолвил князь Михайло... Софья Ивановна вернулась к себе в этот вечер, как озаренная. «Помоги мне Бог, – рассуждала она, – направить Сережу к ученой карьере; наука спасет его и от отчаяния, и от холопства!..» И с этой минуты все помыслы ее, все силы были устремлены к достижению этой цели. Постоянно стараясь вызывать любознательность ребенка, она с лихорадочным вниманием наблюдала за тем, куда клонились его природные дары, к какой области ведения тянули они его. Скоро должна она была убедиться, и не без сожаления, что к точным наукам у Сережи было мало расположения и что едва ли могла она надеяться увидеть его когда-либо «благонамеренным кристаллографом», как выражался князь Михайло. Мальчик зато оказывал самые решительные лингвистические способности. «Что же, – подумала Софья Ивановна, – и это *дело*, и это может сделаться интересною *поглощающею* специальностью!» Надежды ее с этой стороны осуществились вполне – и новым

счастливым днем в ее жизни был тот день, когда Сережа, с горделивым румянцем на щеках, пришел объявить ей, что университет имеет его в виду для занятия кафедры по славянской истории...

Громовым ударом для этой сердечной и мыслившей женщины была весть, полученная ею из Петербурга от племянника, об отказе ему в заграничном паспорте. Она огорчена и поражена была этим гораздо более, чем сам Гундуков, – она была испугана. Все ее упования, все это здание, которое она с такою любовью, с такою заботою воздвигала в продолжение стольких лет, – все это разлеталось в прах от одного почерка пера!.. «Что он будет делать теперь? – спрашивала она себя с мучительною тревогою. – Чем наполнит жизнь?..» Не зная, «чем наполнить жизнь», чему «отдать душу», – она, вечно деятельная и мыслящая, – ничего ужаснее она себе представить не могла. Отсутствие живых интересов, серьезной задачи и эта душевная пустота и уныние, которые замечала она в лучших людях, с какими случалось ей встречаться, – что бы ни доводило их до того, – ничего, в ее понятиях, не существовало более позорного и печального... Боже мой и неужели *это же* должно ждать Сережу, ее питомца, ее надежду, жизнь ее?!

Извещение его о том, что он, по совету ее брата, вступил на службу в Петербурге, не успокоило ее, – напротив! Она лучше, чем он сам себя, знала его, знала, что это для него не спасение, не исход, а еще ближе путь к тому *унынию*, которому она, со своею энергическою натурой, придавала буквально весь тот ужасающий смысл смертного греха, в каком его понимает христианская Церковь... Но следовало ли ей мешать ему искать этот исход, отзываться его из Петербурга? Нет!.. У нее еще в первый раз в жизни опускались руки, – нет, «как Богу будет угодно!», решила она...

И с каким-то двойным ощущением радости и тревоги ждала она его теперь, в Сашине, в этом спасенном и воссозданном ею гнезде его, после того как получила она от него наконец известие, что чиновником он решительно быть не в силах, что он возвращается к ней, к своим книгам, к своим занятиям, что он «положил терпеливо ожидать лучших времен...»

Она сидела на своем обычном месте, в своей прохладной и просторной спальне, у окна, выходившего в старый, тенистый липовый сад, и проверяла какие-то счета. Ручная канарейка весело попрыгивала по ее столику, взлетала ей на плечо и, поглядывая избока ей в лицо своими блестящими глазками, усиленно чирикала, будто спрашивала: отчего ты мною так мало занимаешься?.. Был час двенадцатый. В цветнике, под окном, на пышно распускавшихся шары пунцовых пионов падал отвесно горячий свет солнца...

Софья Ивановна вдруг приподняла голову, насторожила ухо... Какой-то далекий гул донесся до нее из-за сада...

Она не знала, когда именно должен приехать племянник, не знала даже о прибытии его в Москву. Но это был *он*, – сердце ее так сильно не забилося бы, если бы это был *не он*!..

Она поднялась с места, перекрестилась широким крестом и пошла было к дверям, но не могла. Дрожащие ноги отказывались двигаться... Она опустилась снова в свое кресло, нажимая обеими руками до боли трепетавшую грудь...

Послышались в доме крики, возгласы, возня... В спальню ворвалась горничная Софьи Ивановны. «Барин, Сергей Михайлович!» – визжала она как под ножом... Под крыльцом уже грохотала подъезжавшая его коляска...

Еще мгновение – и он стоял на коленях на скамеечке у ее кресла и горячо целовал ее руки...

IX

Ее точно что-то кольнуло, когда узнала она, что он прямо от Шастуновых.

– Как ты попал туда? – спрашивала она, изумляясь. Он начал рассказывать подробно – слишком уж подробно.

Театр, Ашанин, князь Ларион, – все это странно звучало в ее ушах. Она никак не ожидала, что первым предметом беседы ее с *Сереей* будет это. В *этом* было на ее глаза что-то легкомысленное и необычное ему.

«Он знает, что меня тревожит, и нарочно отдалает разговор, чтобы не навести на меня тоску на первых же порах», – объяснила она себе *это*.

Но она никогда не отступала перед тем, от чего ей бывало тяжело и больно.

– Что же ты будешь теперь делать, Сережа? – поставила она прямо вопрос, о котором она денно и ночью думала полгода сряду.

– Я вам писал, тетя... – отвечал он каким-то рассеянным тоном, очень удивившим ее.

– Что ж ты писал, – я тебя спрашиваю *теперь*, – сказала она, с недоумением глядя на него, – неужели же для тебя все надежды на *профессорство* кончены?

– Нет, – молвил Гундуров, как бы цепляясь за убегавшую от него мысль, – я познакомился с одним... я встретился в последнее время случайно... с одним влиятельным человеком в министерстве...

– Что же этот влиятельный человек? – нетерпеливо подгоняла его Софья Ивановна.

– Он говорил мне, что если университет вступится... то есть, если он войдет с решительным ходатайством обо мне, то тогда...

– Фу, как ты нескладно рассказываешь! – прервала его она. – Что ж, ты виделся теперь, в Москве, с каким-нибудь из университетских?

– Ни с кем, тетя, – я к вам спешил...

– И просидел все утро у Шастуновых! – упрекнула она его с полуулыбкой. – А я виделась, говорила... Университет ходатайствовать за тебя едва ли решится: кафедра занята, без адъюнкта можно и обойтись, а к тому, мне говорили наверное, есть какое-то предписание университетам, чтоб за границу, впредь до нового повеления, никого из молодых людей не посылать...

Гундуров пожал плечами.

– И ты так легко миришься с этим? – пылко воскликнула за этим движением Софья Ивановна.

– Что же мне делать! – усмехнулся он слегка. – Против рожна не прать! Все, что от меня зависело, я сделал, специальности своей я не кину, – я и в Петербурге проводил полжизни в Публичной библиотеке за разбором славянских рукописей, – к тому, что я знаю, много, очень много еще могу я добавить и в Москве... А там... «Не все ж на небе будет дождь», тетя, – вспомнил он слова князя Лариона, – «авось и солнышко проглянет!...»

Она глядела на него, ушам своим не веря... Так вот как *философски* относился он теперь к этой несбывшейся поездке в славянские земли, к которой он готовился, о которой мечтал с таким восторгом, без которой, писал он ей еще из Петербурга, все, что мог бы еще приобрести «из книг», было бы только одним бесполезным «ученым хламом», безжизненным материалом, лишенным всякого плодотворного и оплодотворяющего духа. Откуда же вдруг это равнодушие, это *поверхностное отношение* к тому, что было, что должно быть ему так дорого?.. Неужели Петербург успел его так скоро испортить?..

Но относительно самого факта он был прав и не заслуживал никакого упрека. Действительно, им было сделано «все, что от него зависело», и оставалось единственно ждать, когда «на небе опять проглянет солнышко». Тем не менее на душе у Софьи Ивановны не было покойно: она боялась *уныния*, а тут он вернулся вдруг весь сияющий, «сияющий какою-то непонятною *фривольностью*», говорила себе она...

Она внимательно следила за ним из-под опущенных век, между тем как он, поднявшись с места, принялся ходить по спальне, останавливаясь перед шкафами и этажерками, заглядываясь на ее саксонские куколочки, на фарфоровые горшки с месячными розами, расставленными по окнам, на обвитый вечной зеленью плюща портрет Императрицы Марии Феодоровны в золо-

ченой рамке под стеклом, – самый драгоценный для Софьи Ивановны предмет в ее комнате, – и улыбался какою-то умиленной и радостною улыбкою...

«Он счастлив, что вернулся домой, и ни о чем другом не может думать в эту минуту», – объяснила себе Софья Ивановна с успокоенным чувством – и улыбнулась тоже.

– Позвони, Сережа, – сказала она, – ты мне пыли нанес в комнату, ужас!

Вошедшему слуге она приказала отереть пыль с сапогов Сергея Михайловича и подмести пол.

– Вы не изменились, милая тетя, – весело рассмеялся Гундуров, – все та же у вас монашества чистота!..

– Вот ты надо мною трунишь, – так же весело отвечала она, – а я от твоей княгини Шастуновой аппробацию за это получила, когда была она здесь... И все охала она, – громко рассмеялась Софья Ивановна, – и ахала, удивляясь, как это я, несмотря на «провербиальную¹ грязь» русской прислуги, как я успеваю «*obtenir ces effets la²*», то есть попросту, как достигаю держать дом в опрятности. Уморил меня князь Ларион; «а это» пресерьезно объясняет он ей за меня эти мои «*effets*», «это иначе не достигается», говорит, «как посредством геометрии; советую», говорит, «вам учителя взять»... А она слушает его и ничего не понимает...

– Он удивительно что иногда позволяет себе отпускать ей, – сказал Гундуров, – образ княжны как живой промелькнул перед ним в эту минуту, и он передал Софье Ивановне эпизод с князьком за завтраком.

– Да, он умный человек, но... *терпкий*, – молвила она, выслушав, своим обычным, серьезным тоном и как бы отыскивая подходящее выражение...

– Князь-Михайлу он детям его собою не заменит! – примолвила Софья Ивановна, помолчав, и вздохнула.

– И как это чувствительно для княжны Лины! – вырвалось у Гундунова.

В звуке его голоса было что-то, что опять так и кольнуло Софью Ивановну. Она уставилась на него:

– А ты почему думаешь? – спросила она, стараясь произнести эти слова как можно спокойнее.

Но он стоял к ней спиной и глядел в сад: она не могла видеть его лица...

– Княжна в разговоре, – отвечал он не сейчас на вопрос тетки, – сказала несколько слов про отца, и из них я мог заключить...

– Что ей дорога его память, – договорила Софья Ивановна, не дождавшись конца фразы племянника, – это ей приносит честь!.. Он стоил этого!..

– Вы его любили, тетя? – сказал Гундуров, обращаясь к ней.

Странное дело, – эти слова как бы смутили Софью Ивановну. Она несколько времени не находила ответа... Кто изведает изгибы женского сердца? Быть может, в эту минуту совсем в ином значении представлялся для нее бесхитростный вопрос племянника, и в душевной глубине своей старалась разобрать она, какое в действительности чувство внушал ей этот человек, с которым она встречалась на несколько часов в длинные интервалы трех, четырех лет, не разумея его никогда иначе, как за умного и приятного собеседника, но которого каждое слово в эти редкие их встречи хранила ее память до сих пор, а смерть глубоко и долго щемила ей сердце...

– Он такой же был, как князь Ларион, – промолвила она наконец, – образованный и блестящий, – они оба очень хорошо учились, сначала в Англии, потом в немецких университетах, но более теплоты в нем было, сердца... Счастьем в жизни он похвалиться не мог! Эта его женитьба... Они совсем было разорились; у отца их были счета со стариком Раскаталовым, – он в один прекрасный день выписал князь-Михайлу из-за границы и женил его без церемонии... *на этой Аглае*... Тяжела, говорят, была ему жизнь с нею, очень тяжела... да и он, по правде, муж-то был не образцовый... В службе тоже, – начал великолепно, а кончил ничем.

Немецкое начальство давило его всю жизнь, боялось его острого ума и русской души... Под конец уж, года за три до смерти, попал он посланником к ничтожному немецкому двору. – «Я похороненный человек, – говорил он мне, мы тогда перед его отъездом туда виделись с ним... ты был тогда в пансионе, – я похороненный человек – и могу теперь говорить о себе, как о мертвом и чужом. У меня были способности, а – главное – горячее желание служить отечеству, служить настоящим, *русским* пользам. Был случай – во время войны греков за независимость, – я имел возможность сказать свое положительное слово. На меня было обращено внимание. Но с тех пор за то я был, по-видимому, записан в число *опасных*, и к *делу* уже меня больше не допускали... Таких, как я, много у нас, – говорил он по этому случаю, – такова, должно быть, судьба России, что еще долго должны томиться под спудом и материальные, и духовные ее силы!..» Никогда не видала я его таким печальным, как в этот – в последний – раз... – домолвила Софья Ивановна, помолчав опять. – «У меня, – говорил он, – осталась одна радость – дочь! Дай Бог мне дожить!..»

– Да, тетя, – перебил ее неожиданно Гундуров, – она необыкновенная девушка!

– Необыкновенная... – повторила бессознательно Софья Ивановна – и так и обмерла...

Эти сверкавшие глаза, зазвеневший как натянутая струна голос, – у нее не оставалось сомнений... Это был пожар, всего его разом охвативший в эти два, три часа, проведенные в Сицком, и с которым – она сейчас это почуяла – приходилось серьезно считаться.

Открытие это застигло ее совершенно врасплох. Умная женщина была Софья Ивановна, но, как это часто случается с умными людьми, она в своих соображениях позабывала о *случайностях*, вечным игрищем которых бывает наша бедная человеческая жизнь. Она в неустанной заботе своей о судьбе племянника, казалось ей, все предвидела, все, кроме *этого!*..

– Сережа! – испуганно воскликнула она под первым впечатлением, но тут же сдержала себя, – не даром была умна... – Она тебе очень понравилась? – примолвила, улыбаясь ему через силу, Софья Ивановна.

Но он был настороже. Он знал тетку так же, как и она его знала. Вырвавшееся у нее восклицание и теперь эта натянутая улыбка, – он понял и сжался, как цветок под холодным ветром.

– Д-да, – проговорил он почти равнодушно, – она действительно замечательная... я, по крайней мере, такой еще не встречал, с таким здоровым и благородным образом мыслей... Мне большое удовольствие доставило беседовать с нею...

– Она мне самой очень понравилась, – тотчас же впадая в его тон, молвила Софья Ивановна, – такая красивая и *порядочная!*..

– И вы, тетя, – почел не бесполезным сообщить ей Сергей, – произвели на нее самое лучшее впечатление!..

– Да? Что же, я очень рада!.. Она очень похожа на отца этим своим изящным спокойствием... Ты говоришь, она его поминает?

– Да...

– Она успела тебе говорить о нем?

– Что же *«успела»*? – вдруг заволновался Гундуров. – У нее вырвалось невольно... И не *мне* одному, она бы, вероятно, всякому сказала... только я ближе к ней сидел... Когда князь-Ларион отпустил эту колкость ее матери, она сказала, что, если б отец ее был жив, этого бы не было!..

– Она права!..

Софья Ивановна одобрительно кивнула – и тяжело задумалась. Чем достойнее ее сочувствий могла оказываться эта княжна, тем страшнее была она для нее!..

Прошло довольно долгое молчание. Гундуров опять заходил по комнате.

– Что же, ты думаешь скоро опять в Сицкое? – спросила его наконец тетка.

Он остановился:

– Мне говорила княжна, что она ждет меня с *вами*, тетя, – проговорил он чуть не умоляющим голосом.

– А тебе скоро *надо*? – подчеркнула она.

– Да, я там играю... *Гамлета*, – глухо добавил он, – он себе почему-то показался в эту минуту очень мелким и смешным.

– И она... княжна, – тоже играет?

– Да, *Офелию*...

– И ты, – улыбнулась Софья Ивановна, – будешь просить ее... как бишь там: «Сударыня», или «прекрасная девица, помолитесь о моих грехах?»

О, нимфо! помяни
Мои грехи в твоих святых молитвах!⁷

– процитировал он.

– Странно как-то, и только у Шекспира можно встретить, – заметила она, – *святая* молитва и *нимфа*!..

– Да, но прелестно! – воскликнул Гундуров.

– Не спорю, – улыбнулась она опять. – А не хочешь ли ты отдохнуть, – спросила она его, – после дороги... и этого *визита*? Мы, как всегда, будем обедать в три часа.

– Если позволите, тетя, – поспешно ответил он, – я действительно немного устал...

Она долго, сжав руки, глядела ему вслед. Глубокая морщина сложилась между ее бровями, и нижняя губа слегка шевелилась, будто шептала она что-то про себя... Да, она *это* не предвидела, – и глубоко упрекала себя за то... Но чем могла бы *отвести* она от него *это*?.. Она уберегала его до сих пор от всех соблазнов молодости. Чистая и строгая жизнь его не знала до сих пор тех увлечений, которым отдается обыкновенно юность в его годы... Уж не ошибка ли была это с ее стороны? – спрашивала себя теперь в тревоге Софья Ивановна; то, что так легко удавалось ей сдерживать в нем, прорвалось и польется теперь кипящим, неудержимым потоком... Она предвидела: *он весь теперь там будет*, он отдастся *ей* всем этим девственным сердцем своим!.. И что сказать, как упрекнуть его за то? Он прав; к несчастью, прав, – *она*, эта девушка, она прелестна; она ее, *старуху*, очаровала с первого раза; она похожа на отца своего, который... Они стоят друг друга с Сережей... Но ведь это невозможно, – достаточно только раз взглянуть на *эту Аглаю*, на это детище разбогатевшего кабатчика: можно ли допустить, чтобы она дочь свою, *княжну*, согласилась когда-нибудь отдать за *профессора*! Она к тому же порешила судьбу своей дочери, – Софья Ивановна имела основание предполагать это... Горе, унижения, одно мучительное горе принесет ему эта любовь... И нечем теперь оторвать, некуда увезти, услать его от неотразимого соблазна! Как же спасти его, спасти от ожидающего его отчаяния? Неужели нет средства?..

Она судорожно хрустнула сжатыми пальцами, обернулась на образа под наплывом какой-то смертельной тоски – и прошептала:

– Владычица Небесная, осени его Твоим Покровом!..

X

Долее трех дней не в силах была Софья Ивановна удержать племянника в Сашине. Он видимо томился, скучал, избегал разговоров, уходил с утра в дальние поля, опаздывал к обеду... «Он весь там, он уже весь *ее*, нам с тобою уже ничего не осталось от него, Биби», – отвечала она, подавляя слезы, на вопросительное чириканье своей канарейки, сидя с ней по

⁷ Nymph, in your orisons, Be all my sins remember'd!

целым часам одна в уютной свежей комнате, в которой он – тут, рядом с ее постелью, за этими старыми лаковыми китайскими ширмами, – спал до девятилетнего возраста в своей маленькой кровати, где каждый угол напоминал ей его детство, его первый лепет и первые ласки... Но не в характере Софьи Ивановны было тосковать и плакать. «Волку прямо в глаза гляди!» – любила говорить она в трудные минуты жизни, – и прямо шла на него, на этого волка. И в этот раз поступила точно так же: востропыхнулась разом, отерла слезы, надела свое праздничное шелковое не то табачного, не то горохового цвета платье, которое называлось у нее поэтически «la robe feuille morte de Madame Cottin»⁸, – велела заложить фаэтон и послала горничную сказать Сергею Михайловичу, что она собирается в Сицкое...

Он тотчас же прибежал и без слов кинулся обнимать ее. Глядя на его молодое, радостно сиявшее лицо, Софья Ивановна вдруг упрекнула себя в эгоизме. «В сущности, – молвила она внутренне, – я во всем этом более о себе, чем о нем, думала и вследствие этого преувеличивала, может быть, препятствия, которые ожидают его там... Неодолимы ли они в самом деле? Или это только мне кажется так потому, что тогда я лишусь его, лишусь совсем... Но разве эта минута не должна была прийти для меня рано или поздно, разве я давно не готовилась к ней?... Нет, тут дело идет не о моем, а о его счастье, надо действовать!.. А там – посмотрим!..»

Через час тетка и племянник выехали вдвоем в новеньком, легком фаэтоне, запряженном четверкою молодых, выхолощенных караковых лошадок в щегольской сбруе, и Гундуров с каким-то еще не испытанным им доселе чувством ребяческого тщеславия подумал, что «вот они как парадно подкатят под широкое крыльцо Сицкого», – и тотчас же, слегка покраснев, сказал себе: «Как мелко бывает однако на душе человека, даже в лучшие его минуты». Он как-то очень ясно сознавал, что для него пришли эти «лучшие минуты».

Добрые лошадки домчали их без передышки до самого казенного леса, уже знакомого нашему читателю, за которым начинались владения Шастуновых. Там, по узкой и изрытой подсыхавшими колеями дороге, приходилось поневоле плестись шажком.

Громкий крик понесся им навстречу, едва въехали они в лес. Чей – то надрывающийся голос лился перекатами по лесному пространству, еще не внятный, но несомненно грозный... Кто-то гневался против кого-то очень сильно.

– Что там такое? – привстал невольно Гундуров.

– *Левизор*, стало быть, действует; насчет порубки, стало быть, – объяснил с козел Федосей. Кучер дернул вожжами, четверня прибавила шагу...

Послышались уже явственно слова:

– Не видишь, распротоканалья ты эдакая, не видишь? А вот я тебе покажу! – звенел, словно надтреснутая труба, разъяренный начальственный баритон.

– Батюшка, ваше благородие... помилуйте!.. Куда ж свернуть прикажете? – раздался подначальный перепуганный фальцет. – Кладь свалишь!..

– И вали, сто ершей тебе в глотку, вали, сиволапый черт! – слышалось все яснее и звончей.

За ближним уклоном дороги открылось следующее зрелище.

Посередь самого проезда, меж тесно сходящимися здесь с обеих сторон стенами леса, стояли друг против друга тройка в тарантасе и застрявшая колесами в глубокой колее извозчичья телега. Высоко нагроможденные на нее деревянные жбаны, миски и кадушки неуклюже торчали и кренили на бок из-под дырявой рогожи и плохо увязанных кругом веревок. Хозяин

⁸ Под этим заглавием помещен в книге воспитательного характера, пользовавшейся в 30-х годах огромною популярностью в русских семействах, «Conseils á ta fille²», соч. *Bouilly*³, рассказ одного эпизода из жизни творца знаменитого Малек-Аделя (в романе «Mathilde, ou les Croisades»⁴) и мн. др. сентиментальных героев и героинь г-жи *Cottin*, женщины весьма благотворительной. Г-жа *Cottin* носила постоянно одно и то же темное, цвета *опавшего листа* платье, по которому и узнаёт ее в этом рассказе тайно спасенная ею от гибели девушка.

без шапки – явно только что сброшенной с его головы, – прижавшись к своей клади, стоял с приподнятыми к лицу, растопыренными ладонями в ограждение его от чаемого немедленно удара подступавшей к нему руки в красном обшлаге... Рука принадлежала господину в форменном сюртуке и фуражке, необыкновенно быстрому и зоркому в своих движениях, хотя живот начинался у него от самого горла и коротенькие ножки с трудом, казалось, могли поддерживать груз наседавшего на них объемистого туловища. Он, видимо, только что выскочил для кратчайшей расправы из своего экипажа, в котором сидел спутник его, плотный молодой человек в сером плаще и белой волосяной фуражке.

– Исправник, – доложил, оборачиваясь к барину, Федосей.

– Я его знаю! – проговорила спешно Софья Ивановна, которую всю коробило от этой сцены. – Господин Акулин, господин Акулин! – крикнула она громко, между тем как экипаж их остановился за тарантасом исправника.

Рука в обшлаге машинально спустилась с высоты лица извозчика. Господин Акулин обернулся. Обернулся и молодой человек, сидевший в тарантасе.

– А, Гундуrow, здорово!

– Гнев, о поэт, ты воспой Елпидифора Павлова сына! – крикнул он, закатываясь оглушительным хихиканьем и кивая на исправника.

– Это кто? – нахмурясь, спросила племянника Софья Ивановна.

– Свищов, юрист бывший... Нахал! – промолвил он сквозь зубы.

– Это видно...

Господин Акулин тем временем ковылял к фаэтону на своих коротеньких ножках.

– Ваше превосходительство, Софья Ивановна... – Она не дала ему договорить.

– Драться, может быть, и очень приятно, – отрезала она ему прямо, – только это нисколько делу не помогает...

– Pardon, madame, – несколько обиженно и слегка сконфузясь отвечал он, – я образованный человек... mais ces canailles⁵, эти сиволапые бестии...

Она прервала его еще раз:

– Все это прекрасно, только вы видите, что этот «сиволапый» засел в колею, и пока он там будет сидеть, ни вашему, ни нашему экипажу проехать нет никакой возможности. Следовательно, прежде всего вытащить его телегу надо, а затем, может быть, и бить его не окажется нужным.

– Федосей, пойдем, поможем! – молвил Гундуrow, выскакивая из фаэтона. Он едва сдерживался...

Исправник, надув губы, быстро отковылял к своему тарантасу. Спутник его присоединился к Гундуrowу и его слуге. Они вчетвером с кучером Акулина долго бились, пытаясь сдвинуть задние колеса тяжело нагруженной телеги, между тем как извозчик, усердно усыкая и подхлестывая под брюхо свою скользившую в вязкой глине лошадь, то отчаянно тянул ее справа за узду, то, перебежав налево, наваливался всем телом на оглоблю... Кончилось тем, что бедный конь, рванувшись вбок последним усилием, вывез телегу, – и тут же свалился с нею на край дороги, споткнувшись о какой-то корень. Миски и кадушки покатались под ноги исправниковой тройки.

– Ну, теперь проедем; садитесь, Николай Игнатьевич – звал Акулин Свищова. – За урон получи! – величественно крикнул он.

Смятая им в ком красненькая бумажка завертелась в воздухе и опустилась к ногам растерянного извозчика.

– Алкантара-Калатрава⁶, гранд испанский! – расхохотался на весь лес Свищов, подсаживаясь к Акулину в тарантас и подмигивая оттуда на него Гундуrowу. – Ты также в Сицкое? – тут же спросил он его.

Гундуrow не без удивления поднял глаза: он никогда не был на *ты* со Свищовым.

– Ну, так до свидания! – преспокойно кивнул ему тот, не дождавшись ответа.

Тройка покатила, гремя бубенцами наборной сбруи...

– Извольте и ваша милость проезжать! – обернулся к нашему герою извозчик, успевший тем временем с помощью Федосея отпустить дугу и поднять свою лошадь.

– А как же с кладью-то твоею быть, свалилась ведь она вся?

– Ничего, батюшка, ваше сиятельство, спасибо вашей милости, сам управлюсь. Живо справлю... – на радостях-то, – примолвил он, улыбнувшись во весь рот.

– Грозён, небось, на вашего брата, неисправного, исправник-то? – сострил, в свою очередь, Федосей.

– Беда, – извозчик тряхнул головой, – как сорвет это он с меня шапку... Одначе, дай им Бог здоровья, не обидели!..

XI

На балконе Сицкого, охватывавшем весь фасад дома со стороны двора и соединявшемся с боковыми висячими галереями, которыми, в свою очередь, соединялись с главным корпусом флигеля его, можно было отличить еще издалека присутствие целого общества. У Гундунова так и заходило в груди. Тут ли княжна? – сторал он мучительным нетерпением, так же мучительно стараясь не дать это заметить сидевшей с ним рядом тетке и в то же время с глубоким смущением чувствуя, что тетка «видит его насквозь»...

Ни княжны, ни матери ее и дяди тут не было, и общество, разгуливавшее по балкону – всякие соседи обоего пола, – было едва знакомо Софье Ивановне и ее племяннику. Только Надежда Федоровна, узнав их, побежала на лестницу встречать «генеральшу» (Софью Ивановну иначе не звали в уезде) и тотчас же привела их в собственный апартамент хозяйки, куда допускались только «порядочные гости» (к мелкой сошке – «*le menu fretin*»¹, как выражалась она в *интимите*², – сиятельная Аглая выходила сама большим выходом перед завтраком и обедом) и где она теперь сидела вдвоем с «Калабским бригадиром».

Рассыпавшись в разных любезностях и изывлениях пред Софьей Ивановной, импониравшей ей своим спокойным достоинством, а главное тем, что «она когда-то с Императрицей Марией Феодоровной в переписке была», княгиня усадила ее в самое мягкое кресло своего щегольского с иголочки ситцевого кабинета, а «*monsieur Serge'a*» любезно отослала «к молодым».

– Вас давно ждут, – обратилась она к нему, – репетиции начались, и все они теперь в театре avec Larion. Вам гораздо веселее там будет qu'avec une vieille femme comme moi³. Monsieur Зяблин, и вы... Ступайте, ступайте! Я вас не удерживаю...

Зяблин вздохнул, повел на нее телячьим взглядом, как бы говоря: «жестокая!» – и не тронулся с места.

«Восхитительная женщина», – думал Гундунов тем временем, чуть не со слезами умиления чмокая жирную руку с целым арсеналом колец на коротких пальцах княгини, которую протянула она ему при сем не без некоторого покровительственного оттенка, – и вышел из кабинета сдержанно и спокойно.

Зато с лестницы он чуть не скатился кубарем...

В театре действительно шла та невообразимая неурядица, что у актеров-любителей называется «первая репетиция». Суетня была страшная, всякого ненужного народу множество; на сцене бегали, толкались, искали чего-то; смех, писк, горячие слова спора неслись, звуча каким-то пронзающим звуком, под высокий свод залы. Успевший уже охрипнуть режиссер вызывал то и дело, по кличке роли, то одного, то другого из действующих лиц «Льва Гурыча Синичкина» (шла проба этого водевиля).

– *Раиса Минишина, Борзиков! Катя! Надя! Маша! Варя!* – перекликал он имевших *выходить* в эту минуту актеров.

Слышались возгласы:

– Разве мне выходить?

– Конечно, вам!..

– Ах, виноват, я не дослышал...

– *Варя! Варя!* Кто *Варя*, mesdames?..

– Нет ее!..

– Как нет? А ты?

– Я *Надя*.

– Неправда – я *Надя*...

– Ах, Боже мой, я твою роль захватила! А где же моя?.. Не видал ли кто моей роли?

– Шш... ради Бога, господи, ничего решительно не слышно...

– Ни за что, ни за что я этого не скажу! – звенел голос Ольги Елпидифоровны, – надо это вычеркнуть!..

– А куда ж я реплику-то мою дену? – гудел Вальковский.

Все были так заняты, что никто не заметил, как вошел Гундуров.

– Четвертое действие... Сударыни, куплет! – хрипел выписанный из Москвы режиссер Малого театра, – ансамбль: *граф Зефир* и девицы... Пожалуйте!

– Я не знаю этой музыки...

– И я не знаю...

– Ха, ха, ха... А вчера целый вечер за фортепьяном повторяли!

– Позвольте, музыкант сейчас вам подыграет. – Одинокая скрипка запиликала мотив вальса.

– *Граф Зефир*, вам!..

Шигарев, занимавший сцену с какими-то четырьмя барышнями, на которых он карикатурно выпучил глаза, запел, подражая разбитому старческому голосу:

А! это вы, мои пулярки!..

Хохот отвечал ему изо всех углов.

– Извольте, вам-с! – Сейчас же за графом все вместе:

Спешила каждая из нас...

– кричал барышням режиссер, хлопая себя в такт по ладони рукописью пьесы.

Барышни сбились все в одну кучку и, выглядывая из-за спины одна другой, открыли рты, собираясь петь...

– Позвольте, позвольте-с! – кинулся между них несчастный распорядитель. – Так невозможно! Вы должны кружком стоять около графа!..

– И даже «приседать с грациозностью», сказано у Ленского! – кричал им снизу Свищов, бывший тут же и что-то очень суетившийся.

– Хи, хи, как смешно, хи, хи! – заголосили ему в лад барышни, которых успели кое-как расстановить кругом Шигарева.

– Извольте же сначала!

А, это вы, мои пулярки!

А это что у вас? подарки?

– запел опять Шигарев.

Спешила каждая из нас

С днем ангела поздравить вас...

– немилосердно запищали хором *Катя, Маша, Варя и Надя*.

Ли, ай, ай, ай, как режут нас!

– запищал, в подражание им, Свищов, затыкая себе пальцами уши.

Хохот в зале раздался пуще прежнего...

Одна из *пулярок* сильно разобиделась:

– Что же это? Просят, а потом смеются!.. Я не буду играть!..

– И я!.. И я! О-ох! О-о-ох!..

– Ни... за что... не бу-у-дем! – принялись они хныкать уже все вчетвером.

Режиссер растерянно поглядел на зрителей.

Из первого ряда кресел отделилась высокая, полная барыня, жена окружного начальника государственных имуществ, игравшая роль *Раисы Минишиной*, самая «образованная дама» в уезде, и побежала к сцене:

– Феничка, *Eulampe, finissez, quelle honte! Je vous ai donc amenées ici*⁴! (Две из *пулярок* были ее племянницы)...

Но *Eulampe*, – Евлампия то ж – и Феничка оставались глухи на ее внушения:

– Потому что мы не светские... не графини!.. – всхлипывали они.

Вальковский, стоявший все время в кулисе, весь поглощенный, по-видимому, чтением своей роли *Синичкина*, одним прыжком очутился у рампы:

– Вон! Пошел вон! – с расширившимися не в меру зрачками и дрожавшею губою вскинулся он на Свищова, главного виновника этих слез, который, со свойственным ему нахальным спокойствием лица, глядел, ухмыляясь, на разобиженных барышень.

– Ты с ума сошел! – воскликнул он, подняв, бледнея, на Вальковского свою коротко à la malcontent⁵ остриженную голову.

– Ты расстраивать, ты только расстраивать! – бешено кричал на него тот.

Все переполюшилось в зале...

– Господин Вальковский! – раздался вдруг резким и отчетливым звуком голос князя Лариона Васильевича, – вы в доме княгини Шастуновой!..

«Фанатика» точно чем-то приплюснуло; он покосился на угол, откуда донесся до него этот голос, повернулся на длинных ногах и, без слов, опустив голову, как перепуганный волк, отправился назад в свою кулису.

Гундуrow воспользовался смятением, чтобы незамеченно пододвинуться ближе к диванчику у окна, на котором сидела княжна, рядом с Ашаниным. Оба они, показалось нашему герою, так увлечены были своею беседою, что ничего того, что происходило вокруг, не достигало ни до слуха их, ни до зрения. Подойти прямо к Лине, – «а это была его прямая обязанность, как к хозяйке», говорил он себе, – мешало ему овладевшее им вдруг чувство какой-то неодолимой робости. Ему было невыразимо досадно на Ашанина за то, что он так всецело поглощает ее внимание, – и в то же время он каким-то необъяснимым чутьем отгадывал, *был уверен*, что Ашанин говорил о нем, Сергее Гундуrowе, и что у Ашанина с нею никакого серьезного разговора и быть не может, кроме как о *нем*, Гундуrowе...

– Да вот и он, легок на помине! – как бы в явное подтверждение его догадок, обернувшись и увидав его, кивнул на него княжне Ашанин.

Она поклонилась ему с места своим милым долгим поклоном сверху вниз.

Гундуrow подошел.

– Здравствуйте! – сказала она, улыбаясь, как всегда, одними губами и не подавая ему руки (он заметил, что она никому не подавала руки, и это ему очень нравилось в ней: «Женщина, – рассуждал он, – никогда ни с кем не должна быть *фамильярна*»).

– Ты только что приехал? – спросил, обнимаясь с ним, его приятель.

– Да, с полчаса... с тетушкой...

– А, и ваша тетушка здесь? – молвила Лина с каким-то оживлением и прибавила. – Вы теперь совсем сюда... *играть!*..

– У нас все устроилось, и если бы ты сам не явился, я сегодня должен был ехать за тобою, – спешил передать ему новости Ашанин. – В воскресенье, после того как ты уехал, прибыло сюда много народу: Чижевский, Духонин из Москвы, соседи здешние... Вот эта крупная дама, – он кивнул на жену окружного, – очень хорошая актриса, оказывается... Мы с Вальковским воспользовались этим и, с разрешения и при помощи княгини и княжны Елены Михайловны, набрали полную труппу и на драму, и на водевиль. Это все, что, видишь, сидит в креслах, – родственники и родственники, близкие и дальние, актеров наших и актрис, съехались на репетицию посмотреть.

– И мама, вы знаете, согласилась на «Гамлета», с теми только пропусками, какие нужными сочтет сделать дядя, – сообщила, в свою очередь, княжна, – я почти уже всю роль свою знаю.

– И *Гертруда* будет? – спросил Гундуrow Ашанина.

– Есть – Надежда Федоровна... Но чего это мне стоило! – быстрым шепотом проговорил ему тот на ухо, – только для приятеля можно это сделать!..

В это время к княжне, расшаркиваясь и крутя усом, с ловкостью бывалого и *прожженного* гусара, прошмыгнул мимо толпившихся у сцены толстый исправник Елпидифор Акулин.

– Позвольте пожелать вам доброго утра, *princesse*, – заговорил он сладким, искательным голосом, раздувая свои отвислые щеки, – и вместе с тем, как человеку прежде всего откровенному и *страшному*, – засмеялся он вдруг, – прямо обратиться к вам с просьбой: позвольте мне посоперничать с моею Ольгой, пользующейся, к чести ее, а моему неизреченному счастью, благорасположением княгини-матушки вашей и, осмеливаюсь думать, и вашим собственным...

– Что такое? – слегка смешавшись и не понимая, взглянула на него Лина.

– Рольки прошу-с, самую крошечную ролячку! Что делать, страсть-с, с детства... неодолимая! Родился актером... а насмешница-судьба вот чем повелела быть!..

И господин Акулин негодующим движением вытянул вперед красные обшлага своего полицейского мундира.

– Ваша артистическая слава здесь известна, – поспешил ответить за княжну находчивый Ашанин, любезно улыбаясь исправнику, между тем как Гундуrow морщил лоб, вспоминая свежую сцену в лесу, – и вы с самого начала имелись у нас в виду на роль *Полония* в *Гамлете*... если только вы не предпочитаете водевильные роли...

– Да как же это можно-с! – с искренним увлечением воскликнул на это исправник. – Шекспир!.. Да это мой бог, моя единственная религия!

Брови у княжны как-то болезненно сжались вдруг, – она отвернулась...

– Искренно, душевно благодарю вас! Осчастливили, можно сказать, – воскликнул, схватив руку Ашанина и принимаясь горячо мять ее в толстых пальцах своих, Акулин, – а *Полония* я вам *выражу-с*, смею думать, в настоящем виде...

– Я хочу вашу тетушку повидать, – сказала, вставая с места, княжна Гундуrow и вышла из залы.

Молодой человек чуть не с ненавистью глянул на отдувшиеся ланиты господина Акулина. «Это он заставил ее уйти», – не мог он простить ему...

Исправник сам заметил неприятное впечатление, произведенное им на девушку, хотя еще менее, чем Гундуrow, способен был объяснить себе, *чем* именно.

Он отошел от наших друзей и проковылял прежним путем на противоположный конец залы, где рядом с князем Ларионом сидела его дочь и щебетала не умолкая, заглядывая ему в самые зрачки своими вызывающими глазами.

Остановившись от них в нескольких шагах, господин Акулин принялся исподтишка следить за всей этой проделкой с наслаждением настоящего артиста, – каким он на самом деле и был.

– *Лиза!* Где *Лиза?* – раздалось со сцены.

– Я? – отозвалась, вскакивая с места, Ольга Елпидифоровна, – увидала отца и направилась в его сторону.

– Ну что, клюет? – кинул он ей вполголоса.

– Да вот, подите, попробуйте! – И она прошла мимо, досадливо дернув плечом.

– А ты не плошай! – наставлял ее достойный родитель.

– Нам сейчас выходить будет! – объявил, подбегая к барышне, Маус, – он играл в «Синичкине» роль *Борзикова*, – следивший со сцены ревнивыми глазами за нею во все продолжение ее разговора с князем.

– Иду!..

Взбунтовавшихся *пулярок* успели тем временем укротить. Они стояли опять на сцене в позиции, окружая Шигарева и хихикая вперегонку фиглярничаньям, которые выделял он теперь с сугубым усердием, ради вящего поощрения их.

Я вам связала ко-ше-лечек,

– шептала «говорком» по совету Вальковского, и все-таки заикаясь от робости, *Надя*.

Спасибо, миленький дружочек,

– пел в ответ ей Шигарев, семена ножками и подбегая к ней *петушком*.

Вам пецышко связала я,

– завизжала тоном выше скрипки картавая *Варя*, приподымая чуть не к самым волосам огромные черные брови.

Спасибо, косецька моя!

– сюсюкнул ей в ответ граф Зефилов и обнял ее за талию.

– Ах, ах, что это, как вы смеете! – взвизгнула она уже совсем неестественно.

– Я по пьесе, я *должен* вас целовать; и вас, и вас, и вас, всех должен перецеловать!..

– Неправда, неправда, мы не позволим! – заголосили они опять все.

– Это точно-с, в пьесе! – заявил, кидаясь к ним с тетрадь, режиссер.

– Нет, нет, ни за что! Мы лучше совсем петь не будем.

Новый, чреватый грозами бунт целомудренных *пулярок* усмирен был на этот раз мудростью «образованной» *окружной*: она согласилась на том, что *Зефилов-Шигарев* «должен только *faire semblant*⁶ их целовать», и что таким образом «и *ситуация* будет соблюдена, и *конвенансы*¹ спасены».

– А на представлении я все же вас *по-настоящему* чмокну, – обещал им вполголоса Шигарев.

– А я вас за это тогда тресну! – обещала ему, в свою очередь, *Eulampe*, самая решительная из *пулярок*...

– Пойдем в сад покурить, – сказал Гундурову Ашанин, – князь здесь, при дамах, не позволяет. Они сейчас кончат «Синичкина», а затем наша репетиция: хорошо, что ты приехал, а то мы хотели уж без тебя считку сделать; время дорого...

– Но княжна ушла... – с некоторым усилием проговорил Гундуров.

– Придет! – коротко ответил красавец, направляясь к дверям.

Они вышли в сад.

ХП

Гундунов тайне надеялся, что приятель его непременно начнет с того, что перескажет ему свой разговор о нем с княжною. Но тот, к его удивлению, не только не начал с этого, но как будто старался даже обходить все, что касалось княжны в том перечне театральных новостей, который он торопился теперь досказать ему. Нашему герою показалось даже, что Ашанин как бы избегал смотреть ему в лицо и что его обычный смех не звучал прежнею его искренностью. Что-то кольнуло в сердце Гундунова. «Уж не сам ли он?» – зашевелилось – и не досказалось в его встревоженной мысли. И он беспокойными глазами ловил эти, казалось ему, избегавшие их глаза Ашанина.

А тот, действительно торопясь, как бы с намерением не давать Гундунову времени заговорить о чем-то другом, подробно передавал ему о костюмах для «Гамлета», за которыми с письмом от него и от Вальковского к Петру Степанову⁹ послан был накануне нарочный от княгини в Москву.

– Прошлой зимой, когда Двор был в Москве, – объяснял Ашанин, – на ряженном балу у графа (тогдашнего главного начальника столицы) была *Россия в костюмах* и *Двор Елизаветы* из вальтерскоттовского *Кенильворта*². Я вспомнил, что английские костюмы почти все теперь перешли к Степанову; я ему так и написал, чтобы прислал *все*, какие только у него есть. Он по дружбе даст их напрокат нам за самую сходную цену; как раз что нам нужно, – костюмы шекспировского времени, именно такие, в каких, по всей вероятности, играли в «Гамлете» он и его товарищи, – свежие, всего два раза надеванные. Там как раз для тебя костюм есть старика *Суссекса*¹⁰, весь черный, бархат и атлас. А я возьму костюм Четвертинского, – он *Лейчестера*¹¹ изображал, – пунцовый с белым. Прелесть!.. У Чижевского его синий с золотом остался от бала, он не продавал его... Одеты все мы будем великолепно! Только вот не знаю, туша эта исправник, которому я сейчас *Полония* отдал, найдется ли для него что-нибудь по мерке? В трико-то он уж, наверное, ни в чье не влезет...

– Да роли все ли распределены? – спрашивал Гундунов, все продолжая ловить нырявшие по сторонам глаза Ашанина.

– Все, все... придется, может быть, какого-нибудь *Волтиманда* или *Франческо* похерить, да и то найдутся и на них. Вальковский в восторге – я ему *Розенкранца* дал, *молодую роль*!.. Могильщики будут у нас превосходные, одного играет Посников – землемер тут есть один, – он мне вчера роль читал – талант, настоящий талант! Другого – студент при князьке, Факирский по фамилии, неглупый малый и рьяный жорж-сандист...

– Это тот, – неловко улыбаясь, промолвил Гундунов, – что из-за занавески княжну высматривает?

– Может быть... И кто же ему может помешать! – как-то нетерпеливо повел плечами его приятель. – Однако, – словно спохватился он, кидая свою папироску, – мне надо в контору за ролями, актерам раздать...

– И только? – так и вырвалось у Гундунова.

– Что только? – спросил тот, останавливаясь на ходу.

– Отзвонил – и с колокольни долой!.. Тебе... тебе нечего более передать мне? – робко договорил он.

⁹ Известный тогда, весьма даровитый актер Малого театра; он держал на Чистых Прудах большой костюмерный магазин.

¹⁰ Count Sussex – Суссекс, первый министр Елизаветы.

¹¹ Dudley count of Leicester – Лейчестер, известный фаворит ее.

– Ах, да! – засмеялся красавец, возвращаясь. – Я тебе говорил про *Гертруду*, чего мне стоило...

– Ну?

– Я ведь опять вляпался, Сережа!..

– Как так?

– Да так что... Ну, не хочет женщина, ни за что не соглашается играть! А я чую, вижу, что лучшей *Гертруды* нам не сыскать!.. Я ей и посвятил два дня, два целых дня посвятил ей исключительно... Вот вчера это вечером случилось, – вздохнул Ашанин, – ночь была такая чудесная, вышел я после ужина сюда, в сад погулять... Сел на скамью, соловьи так и заливаются, воздух нежит. Только слышу, чьи-то шаги скрипят по песку. Она, моя Надежда Федоровна, идет, прогуливает свои обветшалые красы... «Ах, ах, это вы?» – Ах, ах, это я! – отвечаю ей в тон... Гляжу, она и дрожит, и улыбается... Взял я ее под руку – пошли. Я опять про *Гертруду*, внушительные речи ей держу: «что за ночь, за луна, когда друга я жду», и так далее... А тут, на беду, беседка, – зашли, сели... Вот она слушала меня, слушала, да вдруг голову мне на плечо, и так и залилась... А я, ты знаешь, женских слез видеть не могу... Ну и...

– Господи! – даже вскрикнул Гундуков. Московский Дон-Жуан комически вздохнул опять:

– Должно быть на роду ей уже так написано; любила она, говорит, впервой какого-то учителя; обещал он ей жениться – надул, подлец! Она возьми да и отравись!.. Да, самым настоящим манером отравилась, – мышьяку хватила... «Пятнадцать лет, – говорит, – замаливала я этот грех... А теперь, – говорит, – я не снесу! Если ты, говорит, меня обманешь, для меня все кончено!..» Помилуйте-скажите, – вдруг разгневанно воскликнул Ашанин, – да ведь я же ее непременно обману, да ведь я же ни одной еще женщине в мире не оставался верным! Помилуйте, да ведь это хуже, чем с моею покойницей!..

– Ты ее с толку сбил, несчастную, и на нее же сердишься! – строго и озабоченно говорил Гундуков. – Что ты будешь делать теперь?

– Что буду делать? – повторил тот. – Ярмо надела она на меня, пока не отбудем спектакль, – вот беда! Такие натуры не шутят: пожалуй, в самом деле, сдуру в воду кинется... Поневоле оглядываться приходится!.. А тут как на смех эта черноокая Акулина... Заметил ты ее глаза, а? Ведь мертвого поднять способны!.. И как подумаю, что влез я в эту штуку единственно из-за того, чтобы «Гамлет» наш не расстроился... между тем как...

И Ашанин, с таким только что легкомыслием относившийся к судьбе бедной перерезанной девы, имевшей несчастье полюбить его, воззрился вдруг теперь на приятеля с выражением какой-то глубокой тревоги о нем в больших, говоривших глазах...

А Гундуков, в свою очередь, с тою болезненною чуткостью, что рядом со слепотою дана в удел влюбленным, тотчас же понял, что говорили эти глаза, и также испугался теперь, чтобы Ашанин не произнес имени княжны, как за минуту пред тем страстно желал услышать из уст его это имя.

– Что же наша *считка*, – поспешно заговорил он, – ты говорил, надо роли раздать?..

– Господа, вас просят на сцену! – в то же время раздался за ними чей-то голос.

Это был тот студент, «жорж-сандист», юноша лет двадцати, в котором чуял себе соперника Гундуков. Скажем здесь кстати, что он смотрел прямым московским студентом тех времен: что-то зараз открытое и вдумчивое, серьезное и мягкое в пошибе, чертах, во взгляде больших карих глаз, неряшливо падавшие на лоб волосы и потертый уже на швах рукавов *новый* сюртук с синим воротником и форменными с орлами пуговицами...

Он, с своей стороны, не чуял, видимо, ничего похожего на нерасположение к себе в нашем герое:

– Позвольте вам себя представить, – Факирский, – молвил он ему, подходя и кланяясь, – кланяясь даже с некоторым оттенком почтительности, – я также был филолог, теперь на юри-

дический перешел, но вы меня, вероятно, не помните; я был на первом курсе, когда вы кончали... Только я вас очень уважаю! – скороговоркой добавил он, как-то неловко отворачиваясь и в то же время протягивая свою руку Гундурову.

– Я вам очень благодарен, – сказал тот, пожимая ее, – но не знаю, чем заслужил...

– Я вашу кандидатскую диссертацию имел случай прочесть, – пояснил студент, – превосходная вещь-с! Хотя я и не славист, а истинное наслаждение мне доставила. Ученость ученостью, а прием у вас такой... теплый... Там, где вы это о братстве народов по поводу славян развиваете...

– То есть о племенной славянской связи, – поправил, улыбаясь, Гундуров.

– Да-с, да-с, – закивал головой Факирский, – только это у вас гораздо шире понимать следует... Я по крайней мере так понял. Тут между строк прямо выясняется ваш идеал: чтобы «народы, распри позабыв», – *все* народы-с, не одни славянские, – «в великую семью соединились»⁵. Так говорил великий Пушкин со слов великого Мицкевича, так думают в наше время и все великие мыслители на Западе... И из вашей диссертации я понял, что вы именно проводите мысль об этом братстве народов на началах свободы и равен...

– Конечно, если угодно вам так понимать... – перебил его наш герой, который в эту минуту все народы и всех мыслителей Запада отдал бы за то, чтоб от него поскорее отделаться; – но вы, кажется, звали нас на сцену?..

– Да-с, там князь и княжна просили всех участвующих в «Гамлете»... Да вот-с уже прямо, искусство, – ухватился опять студент за видимо любезную ему мысль, – вот-с уже первая и неразрывная международная связь! Шекспир, возьмите, разве он исключительно *английский*, а не общечеловеческий поэт? Ведь он для немцев еще дороже и выше, чем для англичан, а для нас...

Но Гундуров уже не слушал его более и вслед за Ашаниным направился в театральную залу.

XIII

Репетиция «Синичкина» отошла. На сцене не оставалось уже никого, кроме режиссера и Вальковского, отмечавших по экземпляру «Гамлета» нужные для драмы бутафорские принадлежности. Участвовавшие в ней актеры разбирали свои роли, только что принесенные из домовой конторы. В залу зрителей набралось еще более прежнего, но смеха и говора слышно уже не было; на всех лицах ясно читалось нетерпение, с примесью какой-то торжественности, словно действительно готовилось, по выражению Ашанина, «священнодействие». Но, увы, долг правдивого повествователя заставляет нас признаться, что великий Шекспир был тут ни при чем: общее любопытство относилось не к *Гамлету*, а к княжне Лине, которая должна была принять в нем участие, – о чем много было тогда речей по окрестным весям и селам. Мужчины, в особенности приезжие москвичи, готовы были заранее отвечать за ее талант; провинциальные барыни и барышни, сжав губы сердечком, ожидали, в свою очередь, выхода «заграничного чуда»...

В передних креслах восседала сама хозяйка между неизбежным Зяблиным и Софьей Ивановной. Княжна, стоя перед ними со свернутой трубочкою ролью своею в руке, равнодушно улыбалась, отвечая на какие-то, очевидно любезные, речи «бриганта»...

При виде тетки Гундунова передернуло; присутствие ее его смущало. Для нее все *это* — «скоморошество»; он знал, он чувствовал, что она все *это* осуждает, что ей «совестно» за него...

– Сергей Михайлович, – обратился к нему тут же князь Ларион, сидевший у столика, спиною к сцене и перелистывавший лежавшую перед ним книгу, – согласны ли вы будете на некоторые купюры?

– На что именно? – спросил, подходя, молодой человек, на которого тотчас же и обратились глаза всей залы.

– Это требует некоторого изъяснения, – заговорил князь своим изысканно изящным тоном, – и прежде всего прошу верить в глубокое мое уважение к великому произведению, которое мы взялись теперь исполнить. Я бы не решился выкинуть из него ни йоты, если бы, во-первых, это уже не было сделано господином Полевым, – князь, слегка скривив губы, кивнул на свою книгу, – а главное, если б я не мог сослаться на другой, посильнее этого, авторитет...

– На Гёте? – улыбнулся Гундуrow.

– Вы сказали! – улыбнулся и князь, слегка наклонив голову; – благодаря вашей доброй затее, я в эти два последние дня доставил себе наслаждение перечесть самого «Гамлета» и все места в «Вильгельме Мейстере»¹, где о нем идет речь...

– Il est si savant, Larion², он *все знает!* – прислушавшись к этим словам, сочла нужным, вздыхая, сообщить княгиня Софье Ивановне.

– Très savant³! – бровью не моргнув, отвечала ей та.

– Вы помните, – продолжал тем временем князь Ларион, – что Гёте устами своего героя говорит о тех «внешних, не вытекающих из *внутренних* отношений лиц и событий, мотивах» в «Гамлете», к которым он относит всю эту скучную историю Фортинбраса, посольство к его дяде, поход его в Польшу и возвращение... Вильгельм Мейстер признает все это «ошибками» Шекспира и предлагает даже целый план переделки драмы...

– Это совершенно так, – возразил Гундуrow. – Но этот предлагаемый Гёте план никогда никем исполнен не был, и мне кажется...

Он заикнулся, заметив какой-то, показалось ему, неодобрительный взгляд княжны Лины; она незаметно подошла к столику, за которым сидел дядя, и внимательно слушала...

И князь Ларион заметил этот взгляд.

– Прекрасно-с, – отрывисто проговорил он, – но надо сообразоваться со средствами нашего персонала, а – главное – с публикой, – понизил голос князь, – наскучит, зевать начнут... Я предлагаю исключить *Фортинбраса* и все, что до него относится... Первую сцену с *Тенью* можно также вон; *non bis in idem*⁴: о ней подробно докладывают *Гамлету Горацио* с товарищами, и затем она повторяется при его участии...

Новое движение княжны остановило возражение на устах Гундуrowа.

– И отлично будет, – молвил, подходя, Ашанин, – начнем прямо с выхода двора... Я воображаю заранее, как вы будете величественно восседать на троне. – Он обернулся, смеясь, к Зяблину.

«Калабрский бригад» уныло усмехнулся и скромно потупил очи.

– C'est vrai, vous serez tres bien en costume⁵! – поощрила его княгиня Аглая, устремив на него свои круглые глаза.

– Mon Dieu⁶, – шепотом проговорил он, осторожно наклоняясь к ее плечу, – если бы только *вы*...

Он не досказал, но намерение его дошло по адресу: княгиня подарила его снова поощрительно сладким взглядом.

– А *Тень-то* у нас кто же играет? – чуть не злобно обратился со сцены к Ашанину Вальковский, подходя к рампе с режиссером.

– А ты нет разве?

– Известно, нет, – буркнул «фанатик», – на то у тебя и дворянская голова, чтобы ею не думать никогда!

– А нету, так мы сейчас клич кликнем, – беззаботно засмеялся красавец. – Господа, – обернулся он к креслам, – кому угодно взять на себя роль *Тени отца Гамлета*? Она, как известно, должна походить на свой портрет¹² и иметь, следовательно:

И Марса взор, и кудри Аполлона⁷...

Ему отвечали дружным хохотом.

– Как раз по вас роль! – молвила в унисон этому смеху Ольга Елпидифоровна сидевшему подле нее на кончике стула здоровому молодцу в новеньком фраке, гладко причесанные височки которого, подфабранные усы и вздрагивавшие плечи свидетельствовали с первого взгляда о его недавней принадлежности к доблестным рядам российской армии.

– Чего-с? – переспросил он, не поняв, и выпрямился на своем стуле.

– Я говорю, вам надо предложить себя на роль *Тени отца Гамлета*.

– Вы полагаете-с?..

– Еще бы! Кудрей у вас, правда, нет, зато настоящий «Марса взор». Марс был бог войны, вы знаете?

– Как же-с, проходили еще в корпусе!..

– Вот видите! Ну, и наружность... и самая фамилия у вас даже воинственная...

– Это действительно-с, – весело рассмеялся и он, – Ранцов – у каждого рядового, известно, *ранец* бывает... Что же-с, если только прикажете, я всегда... с покорностью, – примолвил он внезапно дрогнувшим голосом и робко поднял на нее так же мгновенно загоревшиеся глаза.

Отставной капитан Ранцов, еще недавно из бедного пехотного офицера неожиданно превратившийся вследствие смерти дальнего, неведомого ему родственника, в помещика одного из лучших по устройству имений в уезде, – был уже год целый страстно влюблен в быстроглазую Ольгу Елпидифоровну, жил из-за нее гораздо чаще в городе, чем в наследованном им прекрасном поместье, и находил средство вечно как из-под земли вырасти везде, где бы она ни находилась. Так и теперь, к немалому ее удивлению, очутился он в Сицком, куда, вздев с утра новый фрак, являлся «с первым визитом» в качестве «соседа». Окончательного признания бравый капитан «своему предмету» делать до сих пор не решался: бойкая барышня обращалась с ним свысока, в лицо глумилась над ним, делала из него чуть не шуту. Он сносил ее насмешки и фырканья со смирением легавой собаки, ниспадал в прах пред ее «умом и образованием» и, когда оставался «один со своею мечтою», вздыхал так громко, что вдова-купчиха, у которой он нанимал квартиру в городе и до которой долетали его вздохи сквозь стену, каждый раз вздрагивала и крестилась...

– Monsieur Ашанин, – громко крикнула с места Ольга Елпидифоровна, – Владимир Петрович!..

Словно острие шпаги сверкнули по направлению бойкой особы два глаза – глаза Надежды Федоровны, одиноко сидевшей в дальнем углу, – и тревожно тут же перекинулись на красавца.

– Что прикажете? – отозвался он на кликавший его голос.

– Вот, извольте познакомиться: господин Ранцов, Никанор Ильич Ранцов! Он по скромности своей не решается сам сказать, но, как мне известно, сторает желанием изобразить собою тень *Гамлета*... папеньки *Гамлета* то есть, – поправила барышня с новым хохотом.

Бедный капитан вскочил на ноги и покраснел до самых бровей:

– Помилуйте-с, Ольга Елпидифоровна, – залепетал он, – как же это мне сторать-с, когда я, может быть, и вовсе не в состоянии, а единственно из-за вашего желания.

Барышня только покатывалась.

– Так роль прикажете считать за вами? – официальным тоном спросил Ашанин.

¹² Сцена *Гамлета* с матерью. Действие III.

– Ну, разумеется! – отвечала за капитана все та же барышня.

Тот поклонился в подтверждение.

– Значит, теперь все налицо! – обернулся Ашанин к сцене.

Вальковского всего даже повело от злости. Он круто повернул на каблуках и ушел за кулису, чуть не громко фыркая:

– Этаких капралов в труппу набирать... Тьфу!..

– Так можно бы теперь записать, Владимир Петрович? – спросил режиссер. – Предварительную афишечку составили бы?..

– Сделайте милость!.. Господа, участвующие в «Гамлете», позвольте легкую переключку!

Из кресел поднялись, зашаркали... Режиссер стал читать наскоро набросанную им афишу. Актеры отвечали с места: «я» или «здесь».

– *Тень отца Гамлета*... Господин, господин... – запоматывал режиссер.

– Ранцов, Никанор Ильич, герой венгерский! – визгнула с места опять бойкая барышня.

– Помилуйте-с, за что конфузите! – прошептал, зардевшись еще раз, бедный капитан, – действительно получивший свой чин за отличие в прошлогоднюю Венгерскую кампанию.

Толстый исправник, безмолвно погруженный все время в чтение своей роли *Полония*, поднял голову и воззрился издали на дочь, как будто побить ее собирался:

– Дура! – пропустил он про себя по ее адресу и снова погрузился в *Полония*.

– Господа, кто участвует в первом выходе, не угодно ли на сцену! – звал Ашанин. – *Клавдио*, руку вашу Надежде Федоровне, *Гамлет*, *Полоний*, *Лаерт*, двор, – за ними. Пожалуйте!..

Проба началась.

XIV

С первого выступа *Полония* на сцену, вслед за королевскою четою, оказалось, что толстый Елпидифор Акулин действительно «родился актером». Он был из тех нервных исполнителей, которые *сказываются* с первой репетиции, которых с первой же минуты охватывает и уносит горячая волна лицедейства. Он еще не знал слова из своей роли и прищуренными глазами пробегал ее по высоко приподнятой к лицу тетрадке, но он *играл* уже каждым фибром этого лица, каждым движением своего громоздкого, но удивительно поворотливого туловища. Он был комичен с головы до ног, но ни тени буфонства не было в этом комизме. Старый, преданный и *убежденный* царедворец, взрослый и искушенный в дворских обычаях и переделках, – петербургские воспоминания, очевидно, помогали отставному гвардейцу, – суетливый и осторожный, простодушно-лукавый и лукаво-простоватый, пустой болтун, глубоко верующий в непогрешимость своей дюжинной морали и придворной своей тонкости, тонкий настолько, чтобы всегда быть мнения сильного и не замечать, когда этот сильный делает из него шута, полуплут и полудобряк, – таким уже ясно, понятно для каждого, обрисовывался *Полоний* в исполнении Акулина. Он сразу завоевал себе «сочувствие публики»: при каждом его появлении слышался смех, возгласы одобрения... Восторгу Вальковского не было конца: он замер за кулисою, прислушиваясь и хрустя пальцами до боли, – и не выдержал наконец, кинулся к исправнику (с которым даже знаком не был), схватил его за плечи:

– Ну, черт тебя возьми, как хорош! – прохрипел он задыхающимся голосом. – И поцеловал его в самые губы...

Как это всегда бывает в подобных случаях, *игра* Акулина *подняла* всех остальных актеров. Камертон был дан. Самолюбие каждого из участвующих было возбуждено: в чаянии *такого* исполнения относиться к своей роли спустя рукава становилось невозможным. Оживление стало всеобщим; то, что предполагалось быть простою первою *считкою*, вышло настоящею репетициею; актеры становились в позы, читали с жестами, старались *давать настоящий тон*...

– Гляди-ко, как их всех поддувает! – говорил, потирая себе руку, «фанатик» исправнику, с которым с первого раза стал на *ты*.

Для таких опытных театралов-любителей, какими были он и Ашанин, успех «Гамлета» в Сицком был с этой первой репетиции обеспечен.

Один сначала Гундуrow не чувствовал «приближения бога». Присутствие Софьи Ивановны леденило его. Она это понимала и старалась не глядеть на него, поддерживая разговор с словоохотливой соседкой, – но это еще более его смущало. Он читал вяло, запинаясь, – чувствовал это и бесконечно досадовал на себя, – но не был в состоянии встряхнуться. Его сбивал к тому же незнакомый ему текст Полевого, по которому он должен был говорить роль, между тем как вся она сидела у него в памяти по кронеберговскому переводу...

Так продолжалось до первого выхода *Офелии*. Княжна в этот день была в светлом летнем платье, и когда она об руку с Чижевским – *Лаертом*, выступив из темной глубины сцены, подошла к рампе, горячий свет солнца обвил, как венцом, ее золотистые волосы. Обаятельная прелесть ее лебединой красоты как бы впервые открывалась всем в это мгновение. В зале заахали; «как изящна!» – громко воскликнула *образованная окружная*...

Она успела уже выучить роль и отвечала наизусть на прощальные наставления *Лаерта*:

– А о *Гамлете* и его любви
Забудь, —

– говорил ей брат.

...Поверь, что это все мечта,
Игрушка детская, цветок весенний,
Который пропадет как тень,
Не более...
Не более?..

– повторила *Офелия*, подняв глаза, и так искренно сказалось это ею, – сказала тревога и молодая грусть, и неиссякаемое упование в эту «мечту», в этот «цветок весенний», – что ей невольным взрывом откликнулись со всех сторон рукоплескания... А полный той же грусти и тревоги взгляд княжны, скользнув по *Лаерту*, пробежал далее, остановился на миг на внимавшем ей в кулисе Гундуrowе и – потух... Сердце ходуном заходило у молодого человека. «Нет, не может быть! Этот взгляд! Это случайность, случайность одна!» – спешил он отогнать от себя обольстительный помысел... А в то же время он весь замирал от неизъяснимого блаженства и слушал – слушал, упиваясь звуками ее тихого голоса:

Он о любви мне говорил,

– печально признавалась отцу *Офелия*.

Но так был нежен, так почтителен и робок!..

И неотразимо лились ему в грудь эти слова... *Он* был *Гамлет*, – о *нем* говорила *Офелия*!..

Не он один внимал ей с этим трепетом, с этим замиранием. Повернувшись боком к зрителям, опершись локтем о стоявший подле него столик, безмолвно и недвижно сидел князь Ларион, прикрыв лицо свое рукою. Он видимо избегал докучных взглядов, но зоркий глаз исправника Акулина разглядел со сцены, как слегка дрожали длинные пальцы этой руки, а сквозь них пылали устремленные на княжну неотступные зрачки...

Все смущение теперь соскочило с Гундуrowа; сильною, верною, полною живых драматических оттенков интонацией повел он следующую затем сцену свою с *Тенью*, несмотря на то что эта бедная *Тень* устами храброго капитана Ранцова читала таким дубоватым и могильным

голосом, будто не для того она являлась на землю, чтоб возбудить сына к отмищению, а затем, чтобы прочесть над ним отходную. Храбрый капитан ужасно старался и чем более старался, тем хуже выходило; он не дочитывал, пропускал целые стихи, обрывал на полуслове, кашлял и сморкался, – все это к невыразимому негодованию Вальковского и к немалой потехе бойкой барышни, помиравшей на своем диванчике, безо всякой жалости к своему пламенному обожателю. Она смеялась, впрочем, не столько потому, что ей было смешно, сколько для того, чтобы приковывать внимание Ашанина, который, в свою очередь, пожирал ее украдкой со сцены. Вся эта игра, как ни был осторожен наш Дон-Жуан, не ускользала от ревнивых взоров Надежды Федоровны. Целый ад кипел в душе бедной девы... На минуту очутились они вдвоем за кулисами:

– Скажи мне, – вскинулась она вдруг, схватывая его за руку, – скажи хотя раз в жизни правду: любишь ли ты меня, или с твоей стороны *все это* был обман, один обман?..

Прочь, мой друг, слова,
К чему клятвы, обещанья¹?

– пропел он ей в ответ словами романса Глинки, глядя ей прямо в лицо и освобождая свою руку.

– Без шутовства, прошу вас! – бледнея и дрожа, заговорила она опять. – Отвечайте, вы меня затем лишь погубили, чтобы кинуть меня к ногам этой презренной девчонки?

– Прекрасный друг мой, – комически вздохнул красавец, – после пьянства запоем я не знаю порока хуже ревности!

Слезы брызнули из глаз перезрелой девицы:

– О, это ужасно! – всхлинула она, едва сдерживая истерическое рыдание...

– Да, ужасно! – повторил внутренне Ашанин. – И черт меня дернул!..

Репетиция шла своим чередом. Пройдены были два первые акта. Гундуров признавал себя все более и более хозяином своей роли. Монологи свои он читал наизусть, по заученному им тексту; его молодой, гибкий голос послушно передавал бесконечные извивы, переходы и противоречия, по которым, как корабль меж коралловых островов, бежит гамлетовская мысль. Ему уже жадно внимали слушатели; князь Ларион покачивал одобрительно головою; сама Софья Ивановна приосанилась и не отводила более от него глаз. Всеми чувствовалось, что он давно освоился с этою передаваемою им мыслью, с этим своеобразным языком, что он вдумался в эту скорбную иронию, прикрывающую как блестящим щитом глубокую язву внутренней немощи... Но сам он в эту минуту исполнен был ощущений, так далеко не ладивших с безысходным отчаянием датского принца!.. Княжна была тут, он чувствовал на себе взгляд ее, она внимала ему, как другие, – более чем другие, сказывалось в тайнике его души... И помимо его воли прорывались у него в голосе звенящие ноты, и не раз не тоскою безмерной, а торжествующим чувством звучала в его устах ирония Гамлета...

– Не забудьте классического определения характера, который вы изображаете, – заметил ему князь Ларион после монолога, следующего за сценой с актерами, – «в драгоценный сосуд, созданный быть вместилищем одних лишь нежных цветов, посажено дубовое дерево; корни его раздаются, – сосуд разбит»¹³. У вас слишком много *силы*; при такой энергии, – усмехнулся князь, – вы бы, не задумавшись, тут же зарезали господина Зяблина, если бы он имел несчастье быть вашим отчимом; а вот на это-то именно *Гамлет* не способен...

Гундуров только склонил голову; князь был тысячу раз прав, и сам он это знал точно так же хорошо, как князь... Но где же было ему взять бессилия, когда в глазах его еще горело отражение *того* взгляда тех лазоревых глаз?..

¹³ «Wilhelm Meisters Lehrjahre». Dreizehnte Capitel².

– Ne vous s’offensez pas, – успокоивала тем временем Зяблина княгиня Аглая Константиновна, – il plaisante toujours comme cela, Larion³!

– У вас сейчас, кажется, будет сцена с *Офелией*, – как бы вспомнил князь Ларион, – там есть некоторые... *неудобные* места... Ее надо бы было предварительно почистить...

– Я хотел только что напомнить вам об этом, – сказал Гундуров и покраснел до самых ушей.

Лицо князя словно передернуло...

– Oui, oui, Larion, – залепетала, услышав, княгиня Аглая, – je vous prie qu’il n’y ait rien de scabreux⁴!..

– Господа, – обратился он к сцене, – я предлагаю отложить продолжение вашей пробы до вечера. Во всяком случае до обеда недалеко, кончить не успели бы. – Пройдем ко мне, Сергей Михайлович!

Наш герой последовал за ним с Ашаниным.

XV

Was ist der langen Rede kurzer Sinn¹?

Князь Ларион Васильевич занимал в Сицком бывшие покои своего покойного отца. Это был целый ряд комнат, обоеванных в начале нынешнего века, во вкусе того времени, и с того времени оставшихся нетронутыми. Длинноватые размеры и узкие очертания столов, консолей и диванов на ножках в виде львиных лап, золоченые сфинксы и орлы полукруглых кресел в подражание консульским седалищам древнего Рима, вычурные вырезки тяжелых штофных занавесей с бахромою из перебранных золотым шнурком и синелью² продолговатых витушек, черно-бронзовые туловища, поддерживающие на головах изогнутые рукава светлых канделябр – все это невольно приводило на память поход Бонапарта в Египет, нагих гладиаторов и Ахиллесов академиста Давида³, Тальму в корнелевом Цинне⁴ и паром тильзитского свидания в описании Дениса Давыдова⁵... От всего этого веяло чем-то сухим, но важным, – поблеклым, но внушительным. Кабинетом служила огромная библиотека в два света, в которой собрана была ценная наследственная движимость Шастуновых, доставшаяся лично князю Лариону по разделу с братом. Тут, между старинными резными багетами и шкафами черного дуба, полными редких, дорогих изданий, висел большой портрет старого князя на боевом коне, в генерал-аншефском мундире, со шпагою в руке и Андреевскою лентой⁶, волнующейся по белому камзолу. Рядом с ним глядели из почернелых рам товарищи его по Ларге и Италианской кампании: Румянцев, Суворов, Кутузов, Багратион⁷... Мраморный Потемкин, красивый и надменный, стоял на высоком цоколе из черного дерева, на котором в венке из серебряных лавров читались начертанные такими же серебряными буквами два известных стиха Державина:

Се ты ли счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды⁸?

а на противоположной стене – сама «Великая жена», в фижмах, на высоких каблуках, с брильянтовым орденом на левом плече, писанная Лампи⁹, улыбалась с полотна своего очаровательною улыбкой... Несколько картин мифологического содержания опускались над карнизами библиотеки. Копия с «Психеи» Кановы¹⁰, деланная им самим, отражалась в зеркале на яшмовом камине. На глянцевах досках столов тончайшей флорентийской мозаики расставлена была целая коллекция фамильных женских портретов – прелестные акварели на

кости работы Изабея и Петито¹¹, темноокие красавицы в высоких пудренных прическах à la jardinière¹² или с рассыпанными, à la Récamier¹³, кудрями по обнаженной груди и плечам...

Глаза Ашанина так и разбежались на роскошных нимф и Киприде¹⁴, словно возрадовавшихся ему со стен, как своему человеку, едва вошли они вслед за хозяином в его покои...

– Ваше сиятельство, – засмеялся он, – это, наверное, вам писал Пушкин:

¹⁵Книгохранилище, кумиры и картины...

– И прочее тут все, – прибавил от себя Ашанин, обводя кругом рукою. —

Свидетельствуют мне,

Что благосклонствуешь ты музам в тишине⁻¹⁵!

– К сожалению, не мне, – улыбнулся и князь, – а музам, не скрываю, служил и я когда-то... Время наше было таково, – я старый Арзамасец¹⁶!.. Где бы нам удобнее усесться, господа? – спросил он, окидывая взглядом кругом.

– Да не прикажете ли вот тут? – указал Ашанин на большой, покрытый до полу сукном рабочий стол князя, приставленный к одному из окон и уложенный портфелями и кипами всякого печатного и писанного материала, – там, кажется, все, что нам нужно, карандаши, бумага...

Он не договорил: и в синей бархатной раме большой, очевидно женский, акварельный портрет, – на который ужасно манило его взглянуть поближе.

– Пожалуй! – с видимою неохотой согласился князь, направляясь к столу.

– Княжна! – воскликнул Ашанин, подходя. – Как хорош, и какое удивительное сходство! Это верно в Риме сделано?

Гундунов не смел поднять глаз...

– В Риме! – отвечал князь Ларион тоном, явно не допускавшим продолжения разговора об этом... Он уселся на свое прелестное кресло перед столом. – Итак, господа...

Они принялись «очищать» „Гамлета“ – ad usum Delphini¹⁷», – с не совсем искреннею насмешливостью говорил князь. Но Гундунов оказался здесь еще более строгим, чем он сам: он урезал в своей роли все слова, все намеки, которыми Гамлет в унылом разочаровании оскорбляет чистоту *Офелии*. В первом разговоре его с нею выкинуты были двусмысленные его речи о несовместимости женской красоты с «добродетелью» (слово – неправильно передающее в русских переводах английское *honesty*). В сцене *театра* герой наш безжалостно пожертвовал традиционную, со времен Гаррика¹⁸, и эффектнейшею для актера позою *Гамлета*, который слушает представление, откинувшись затылком на колени *Офелии*. Положено было, что вместо слов: «могу ли прикоснуться к вашим коленям?» *Гамлет* скажет: «позволите ли прилечь к вашим ногам», и, вслед за ее согласием, тотчас же перейдет к реплике: «и какое наслаждение покоиться у ног прелестной девушки!» и усядется, как указано в драме, у ее ног, но не прямо перед нею, а несколько сбоку, – так, как он представлен на соответствующем рисунке в известном «Гамлетовском альбоме Ретча¹⁹». Таким порядком, употребляя выражение *образованной окружной*, «и ситуация была соблюдена, и конвенансы спасены»... Князь Ларион, знакомый с «Гамлетом» только по английскому тексту, напомнил было о песне про *Валентинов день*, которую поет в безумии своем *Офелия*, – но выходило, что в переделке Полевого из песни этой изъят был тот «скабрёзный» смысл, какой она имеет у Шекспира, и, благодаря хорошенькой музыке Варламова²⁰, она пелась в то время российскими девицами во всех углах государства:

Милый друг, с рассветом ясным

Я пришла к тебе тайком.
Валентином будь прекрасным,
Выглянь, – здесь я, под окном!
Он поспешно одевался,
Тихо двери растворил,
Быть ей верным страшно клялся,
Обманул и разлюбил! и т. д.

Покончив с этим, – Ашанин отмечал на режиссерском экземпляре урезанные ими места, – собеседники на миг замолкли. Князь слегка откатил свое плетеное кресло от стола и повернулся всем лицом к Гундурову:

– К делу от безделья, – начал он неожиданно, очевидно, наладив свои уста на улыбку, – что вы думаете из себя делать теперь, Сергей Михайлович?

Как потоком холодной воды обдало Гундунова. Из мира золотых снов его сразу опрокидывало в самую неприглядную действительность. Он остался без ответа.

– Смею надеяться, – продолжал князь Ларион с тою же деланною улыбкой, – что вы не почтете мой вопрос за нескромное любопытство. Я знал еще вашего покойного батюшку – и очень ценил его... Старые отношения наших семей... наконец мои годы – я вам чуть не дедом мог бы быть – все это если не дает мне прав, то в некоторой мере может служить мне извинением. К тому же сегодня из нескольких слов, которыми я успел обменяться с Софьей Ивановной, я мог предположить, что она очень о вас беспокоится.

Он приостановился. Гундуров сосредоточенно внимал ему... Еще внимательнее слушал Ашанин.

– Я сам не знаю, что мне предпринять! – сжав брови, проговорил наконец герой.

– Я думал о вас эти дни, – заговорил снова князь. – Когда я в тот раз имел удовольствие беседовать с вами, я вам говорил: терпение и душевная бодрость!.. Сегодня повторяю вам то же. Теперешнее... – он искал слово, – теперешнее... *течение* должно наконец измениться... так или иначе... Ненормальные положения долго не длятся, – словно проглотил он. – Но не в этом дело. Прося о заграничном паспорте в той форме, в каковой вы это сделали, вы поступили как неопытный юноша, обратили на себя внимание, когда теперь у нас только тому и жить можно, кто проходит незамеченным. Дело вашей профессуры может от этого пострадать, я от вас не скрою... Все это, однако, дело поправимое. Мне не нужно вам говорить, что я и... отношения мои в Петербурге к вашим услугам с этой же минуты... Но я прямо вам говорю, что ранее года возобновить дело о вашей поездке за границу и думать нельзя...

– Если бы еще через год! – воскликнул Гундуров.

– Вы имеете для этого, по-моему, в руках верное средство.

– Я? какое? – с изумлением спросил тот.

– Отправляйтесь, не медля, путешествовать по России!

Ашанин закусил себе губы до боли. Приятель его растерянно поглядел на князя:

– По России? – мог только повторить он.

– Точно так-с! Формально повинуюсь резолюции, воспоследовавшей на вашей просьбе; там – как бишь было сказано: «изучать славянский быт можно от Москвы и до Камчатки?...» До Камчатки доезжать вам, разумеется, не для чего, – усмехнулся князь Ларион, – а побывать на Урале, в Оренбургском крае и на Кавказе, уверяю вас, принесло бы вам столько же удовольствия, сколько и пользы. А через год – я берусь за это – о вас будет сделано представление, в котором пропишется, что вот вы, с покорностью приема сделанное вам указание, совершили этнографическую поездку по России, а теперь проситесь для той же цели в славянские земли... И поверьте моей старой опытности – это будет очень хорошо принято, и вас не только отпустят, но будут иметь в виду как молодого человека *благонадежного*...

– Конечно, это может быть, – бормотал Гундуров, не успев еще собрать свои мысли, – но ехать так, без определенной цели... У меня есть специальность...

– Специальность ваша остается при вас, – возразил ему князь, и еще раз деланная улыбка зазмеилась вдоль его длинных губ, – но позвольте одно замечание: вам двадцать три года, вы носите старинную фамилию, у вас хорошее состояние; думаете ли вы отдать всю вашу жизнь этой вашей специальности?

– Почему же нет?

– Просто потому, что это, я полагаю, вас удовлетворить не может, – да еще потому, что не таков еще у нас общий уровень просвещения, чтобы вообще наука могла быть у нас для человека тем, что называют карьерой. И в Германии Савиньи и Бунзены²¹ меняли свои кафедры на министерские кресла; а в России подавно для молодых людей, как вы, кафедра может быть только ступенью...

– Я не честолюбив, – сказал сухо Гундуров, – и на министерское кресло не претендую.

– Прекрасно-с, – и губы князя словно судорожно повело, – вы не честолюбивы, вы единственно желаете быть профессором; но профессуры вам пока не дают, и вы можете получить ее лишь при известной расстановке шашек, которую я имел сейчас честь представить вам, но пользу которой, как кажется, вы не совсем признаете. Затем, любезнейший Сергей Михайлович, – примолвил он, видимо сдерживаясь, – я позволю себе спросить вас: что же предстоит вам теперь в Москве, какая деятельность, какие живые интересы? Ваши книги, «специальность» ваша, как вы говорите, – чудесно! Специальность эта, кстати заметить, имеет, так сказать, два фаса: с одной стороны, то, что у вас называется «славянская наука», с другой – политического рода стремления, которые разумеются теперь под именем *славянского вопроса*. Там, где все это имеет положительное, разумное значение, – в славянских землях, в Праге, – на первом плане стоит, разумеется, последнее, а не первое. Сама эта «славянская наука» – последствие пробудившегося там национального самосознания, а не наоборот... Вы русский, имеющий корни в русской земле, а не на берегах Валдавы... То, что там – живая действительность, для вас – насилованная фантазия и дилетантизм!.. И мечтаете-то вы все здесь по этому поводу вовсе не о том, о чем *они там* мечтают!..

Он говорил спешно, отрывисто, несколько желчно, и только изредка взглядывая на своего собеседника:

– Стихи Алексея Степановича¹⁴²² прелестны, и сам он замечательно умный человек, с которым я имел случай довольно часто беседовать нынешнею зимой... Но ведь все это – одна поэзия, к несчастью!.. Славянское *единство*! Кто его хочет в действительности?.. Как у нас на это глядят *сверху*, лучшим ответом может вам послужить резолюция на вашем прошении... А *они там*, я полагаю, «на яркий свет» *нашей* «свободы»¹⁵ не согласятся променять свои, даже австрийские, порядки! – снова точно проглотил князь и, нахмурясь, отвернулся к окну, как бы недовольный собою...

– Я не могу с вами согласиться, – начал было возражать Гундуров, – славянское единство – это все будущее наше!..

– Виноват-с, – прервал его князь, – об этом мы когда-нибудь с вами в другой раз... Я совершенно напрасно уклонился в сторону... Мы говорили о вас, о том, что вас ожидает. Я хотел только сказать, что для вас, как для русского, отпадает самая интересная, живая сторона вашей «специальности». Остаются вам, следовательно, – не совсем естественно засмеялся князь Ларион, – «Любушин Суд» и исторические памятники Святого Вячеслава²³... Воля ваша, этим нельзя наполнить всю жизнь в ваши лета. Что же-с затем, в теперешнем положении

¹⁴ Хомяков.

¹⁵ О, вспомни их, орел полночи, Пошли им звонкий свой привет, Да их утешит в мрачной ночи Твоей свободы яркий свет. *Северный орел*. Стихотв. Хомякова.

вашем, даст вам Москва? Что вы будете делать? Изнывать в бесполезных сетованиях в тесном кружке друзей, слушать каждый вечер все ту же болтовню московских умниц, играть в *детской* в Английском клубе?.. Не думаете же вы, я полагаю, – с новым смехом примолвил он, – *обвестись своим домком* от скуки, жениться, как женятся в Москве, в 23 года от роду, не создав себе положения, ничего еще не сделав ни для общества, ни для самого себя?..

И старый дипломат времен Венского конгресса²⁴ – словно только и ждал он этой минуты – остановил теперь на молодом человеке долгий, пристальный взгляд.

– Вот он, «длинной речи краткий смысл!» – проговорил внутренне Ашанин и, в свою очередь, с беспокойством воззрился в лицо приятелю.

Но ни он, ни князь не прочли на нем того, чего ожидали. Гундуrow не понял; пойми он, его молодое самолюбие разразилось бы, вероятно, каким-нибудь горячим, неосторожным ответом... Но разве он думал о «женитьбе», разве у него были какие-нибудь планы, какая-нибудь определенная мысль? «Ловкий подход» князя, как говорил себе в эту минуту Ашанин, прошел мимо, даже незамеченный нашим героем. В прослушанных им речах для Гундуrowа звучало лишь отражение мнений и доводов его тетки, с которой, надо быть, объяснял он себе, князь говорил о нем, пока они с Ашаниным курили в саду... Никаких личных намерений он со стороны князя не предполагал, – да и что он мог предполагать? Князь говорил дело, – кроме разве о «славянском вопросе», который он «разумел по-Меттерниховски²⁵», на что у Гундуrowа и были готовы возражения «на будущий раз». А затем то, как предлагал князь «расставить шашки», чтобы устроить на будущий год его поездку за границу, даже очень понравилось Гундуrowу... Только «не теперь, не теперь, и поскорее кончить с этим разговором!» – внутренне восклицал он...

– Князь, – сказал он громко, – я поставлен теперь в такое положение, что мне действительно, кажется, ничего более не остается, как последовать вашему совету. Я переговорю с тетюшкой, и она, вероятно, ничего не будет иметь против такого моего путешествия... А на будущий год позвольте уж мне серьезно рассчитывать на ваше содействие...

Морщины разом сгладились с чела князя Лариона. Он встал и протянул руку Гундуrowу.

– Я вам от души добра желаю, Сергей Михайлович, знайте это! – искренно, почти горячо проговорил он.

Молодой человек был тронут – и с безмолвным поклоном пожал поданную руку...

В это время по всему дому раздался трескучий звон китайского гонга.

– Одеваться! – весело и насмешливо объяснил князь. – Я должен предvarить вас, Сергей Михайлович, что княгиня Аглая Константиновна бывала в английских замках и их обычаи перенесла теперь в Сицкое: к обеду у нее являются не иначе, как во фраке и белом галстуке. Звон этого гонга обозначает: к туалету; через час позвонят на дворе – к обеду. Соображайтесь...

Приятели наши поклонились и вышли.

Князь Ларион прошел за ними несколько шагов, медленно оборотился и, когда они исчезли в соседней комнате, вернулся к своему рабочему столу, сел против портрета племянницы и, подперев голову обеими руками, погрузился в глубокую, сладкую и мучительную старческую думу...

XVI

– Каково, ядовит старик-то этот? – заговорил Ашанин, как только сошли они с лестницы на двор, по пути к своим комнатам.

Гундуrow с изумлением поднял голову.

– Да что ты, лицемер или простофиля? – даже рассердился его приятель. – Ты в самом деле не разобрал, к чему он вел речь?

– К чему? – рассеянно повторил наш герой. – Он советовал мне ехать по всей России...

– Боже мой, как бестолков этот ученый народ, – воскликнул Ашанин, – да ведь это ж он тебе в рот положил! Весь этот разговор об его участии к тебе, о старых связях, о славянофилах, о твоей карьере, и чего он тут ни наплел... – неужто ж он даром стал бы кидать свои слова?.. Ведь все же это подведено было к тому, чтобы как можно любезнее предварить тебя заранее, что «княжну не выдадут за 23-летнего человека», который «не создал себе еще никакого положения» – и чтоб ты, значит, отложив всякое попечение, отправился «не медля» путешествовать по киргизским степям!.. Или ты пропустил мимо ушей его слова?..

Гневом, стыдом и страданием исказилось все лицо Гундунова.

– К чему ты мне это говоришь? – обернулся он на приятеля с побледневшими губами.

– Как к чему, Сережа?..

– Да, к чему? Ведь ты знаешь... что я никаких намерений... княжен сватать не... имею, – едва находил он силу выговаривать.

– Я знаю, Сережа, но...

– Ты... ты привез меня сюда, играть... играть, а не... Ты... или этот князь... вы... Что вы хотите от меня наконец! – почти взвизгнул Гундунов.

– Да ничего же от тебя не хотят... Сумасшедший!

– А не хотите, так оставьте вы меня все в покое!.. – И, махнув отчаянно рукою, он побежал к флигелю, на крыльце которого давно его ждал Федосей.

Чернокудрый приятель его остановился посреди двора, не зная, идти ли за ним, или дать простыть его первому пылу.

– Однако, – говорил он себе мысленно, – как он врезался, бедняга!.. И это с двух... чего? – с одного разу! Вот эти *девственные*, загорятся сразу, как копна горят!.. И отвести его теперь поздно... Станет он теперь мучиться, безумствовать, – и я ведь знаю его, он на все способен; я помню, как в пансионе он из второго этажа выскочить хотел, когда его вздумал высечь инспектор... Весь вопрос теперь в том, что *она*, разделяет ли?.. Сегодня она меня что-то очень подробно расспрашивала о нем... С другой стороны, эта нотация князя... Так или иначе, жар-птицу, по-моему, добыть легче!.. Эх, Сережа, мой бедный, надо же... И это они называют жизнью? Нет! – И в подвижном воображении Ашанина закопошились тут же обычные представления, – нет; вот эту быстроглазую Акулину, например, «к груди прижать во тьме ночной» – дело будет другое!.. А все же так этого оставить нельзя! Раз Сережа избегает даже говорить со мной, надо предварить его тетушку.

И Ашанин вернулся в дом – отыскивать г-жу Переверзину.

В это же время в одной из садовых беседок, куда по выходе из театральной залы исправник Акулин увел свою дочь, происходил между ними следующий разговор:

– Потрудитесь объяснить мне, сударыня, – говорил родитель, отдуваясь от спешной ходьбы, – на что тебе нужно Ранцова пред всем обществом шутком выставить, – а?

– А вам-то что до этого? – отвечала на это дочка. – И для этого только вы меня сюда и увели? Я даже понять не могла, что за смех такой!..

– А что я тебе скажу, – возразил исправник, – что он, видя твое грубиянство, плюнет и отклоняется тебе!..

– Во-первых, не говорите «плюнет», потому что это в высшей степени *mauvais genre*¹, и вы, как сами служили в гвардии, должны знать это! Во-вторых, мой капиташка откажется от меня только, когда я сама этого захочу. В-третьих, ну, он откажется: что ж за беда такая?

– А такая, что после кощег этого, Тарусова, что ему четвероюродным каким-то прихотился, досталось ему неожиданно-негаданно богатейшее имение, да тысяч сто на старые ассигнации денег, что он любую княжну в Москве за себя может взять, – вот что! А у нас с тобой жаворонки в небе поют, да и все тут!..

Бойкая барышня вспыхнула, как пион:

– Что ж, это вы мне никого лучше найти не могли, как армейского, необразованного *Ваше благородие*? Разве я на то воспитывалась в институте, чтоб *капитанишею* быть? Разве...

– И, матушка! – перебил ее, махая руками толстый Елпидифор. – Вас там что цыпляют у ярославского курятника, штук шестьсот зараз воспитывается; так на всех-то на вас, пожалуй, *Ваших светлостей* и не хватит.

– Да разве я была как все, как все *шестьсот*? Когда вы меня брали, вы не помните разве, что вам сказала мама? – назвала она институтским языком начальницу заведения. – «*Notre cher rossignol*²», – сказала она вам про меня; она чуть не плакала, что вы меня взяли до выпуска... Я на виду бывала! Меня все знали, баловали, все из *grand monde*'а³, кто ни приезжал... Сама государыня сколько раз заставляла петь!.. Если бы вы не взяли меня тогда, я могла с шифром выйти, я из первых училась, – могла бы ко Двору попасть за голос, как фрейлина Бартенева; *grande dame*⁴ была бы теперь!.. И после этого я должна, по-вашему, *отставною капитанишею* сделаться?

Она чуть не рыдала; но вдруг вспомнила, оборвала – и, подступая ближе к отцу:

– Да что вам вздумалось мне теперь про него говорить, – спросила она, – когда вы знаете, кого я имею в предмете?

– Вот то-то, матушка, – вздохнул на это исправник, – когда б ты не так пылка была, да не закидывала меня твоими *гранд-дамами*, так у нас, пожалуй, лад бы вышел иной. – Ты с чего взяла, во-первых, что *он* к тебе склонность имеет?

– Я же говорила вам – когда я сюда приехала гостить, в первый же день *старуха* (увы, что сказала бы княгиня Аглая Константиновна, если бы знала, как ее обзывала барышня!) заставила меня петь, и я спела: «Я помню чудное мгновенье⁵». Он был вне себя от восторга, подошел, несколько раз жал мне руку, даже поцеловал один раз, кажется, и потом каждый вечер заставлял петь, – все опять «Я помню», шутил, любезен был... Ну, известно, как когда человек занят женщиною... Вы тогда приехали, и я вам рассказала... И вы тогда сами мне сказали: «Гляди, Оля, умна будешь, большого осетра можно выловить!» Ведь говорили вы?

– Говорить говорил, не отказываюсь, – Елпидифор Павлыч почесал себе за ухом, – говорил потому, что эту шастуновскую породу знаю, – слышал! Покойный князь Михайло Васильевич в свое время пропадал из-за женщин... *Этот* опять, когда товарищем министра был, – я в лейб-уланском полку еще служил, – в Петергофе по летам жила его тогдашний предмет, замужняя, одного доктора жена, красавица!.. Я всю эту историю знал... Муж ни за что разводной ей дать не хотел, а то бы он на ней непременно женился. Всем пренебрег, имя свое, место, в фаворе каковом был тогда, – все это ему было нипочем! Всем жертвовать был готов ей... Только она вскорости тут умерла; так его сам Государь, говорят, после этого за границу послал, а то мало с ума не сошел от горя... Так вот, зная, раз, какие они люди страстные; во-вторых, что под старость еще сильнее бывает эта слабость, – что ж, думаю, попытка не пытка; авось и с нашей удочки клюнет!.. Ты же у меня родилась такая, что у тебя на мужчину в каждом глазу по семи чертей сидит...

– Я вас и послушалась, – молвила Ольга Елпидифоровна, невольно усмехнувшись такому неожиданному определению ее средств очарования, – и все повела, как следует...

– Ну и...? – крикнул, подмигнув, исправник.

– Что «ну?...»

– Ни с места?..

– Да, действительно, – сжав в раздумьи брови, созналась барышня, – я в эти последние дни стала замечать...

– То-то!.. И, по-твоему, как это понимать надо?

– Стар... выдохся! – Она презрительно повела плечом.

– Ан и ошиблась!.. И я ошибся, – повинился достойный родитель.
– Что же по-вашему? – Она остановила на нем расширенные зрачки.
– И не выдохся, и даже очень пылает... да только не про нас!..
– Что-о? – протянула Ольга Елпидифоровна, – он влюблен... в другую?..
– А сама-то и не заметила! – Он закачал головою. – Эх вы! Прозорливы, только пока самолюбием глаза вам не застелет!..

– Да в кого же, в кого же, говорите? – И она нетерпеливо задергала отца за рукав.
Толстый Елпидифор поднялся со скамьи, обошел кругом беседки, заглянул в соседние кусты, сел опять, привлек к себе за руку дочь и шепнул ей на ухо:

– В княжну!
– В племянницу? – вскрикнула барышня. – Не может быть!..
Исправник зажмурил глаза и повел головою сверху вниз:
– Есть! – прошептал он. – По полицейской части не даром двенадцатый год служу, с меня одного взгляда довольно!..

– Ах он противный! – еще раз вскрикнула Ольга Елпидифоровна.
– Ссс!.. Halt's Maul⁶! – говорят немцы. И Боже тебя сохрани хотя видом показать, что ты об этом почуяла!.. Ты там себе, матушка, *грандамствуй* сколько тебе угодно, только помни одно, что отец у тебя, – горшок глиняный; так чугунные-то ему, только притронься, все бока протычут... А брюхо у меня объемное, сама видишь, есть много просит...

Барышня примолкла и опустила голову. И у нее теперь, как у лафонтеновской *Перреты*⁷, лежала в ногах разбитая молочная кринка, на которой строила она свое воздушное княжество...

– Как же быть теперь? – проговорила она озабоченно.
– Как быть? – повторил толстяк. – Очень просто! я тебе сейчас...
– Нет! – перебила она и топнула ногою. – Вы мне про Ранцова и говорить не смейте!..
Хоть бы сами подумали: ну, *что* я из него могла бы сделать?.. Нет, я уж лучше за Мауса пошла бы!..

– За стряпчего-то? – исправник скорчил гримасу.
– Он не стряпчий просто – он правовед! На тридцать первом году он будет статский советник, он мне сам на бумажке высчитал. Я все чины знаю и производство – выходило верно!.. И у отца его большая практика, и он один сын...

– Как знаешь! – пожал плечами Акулин. – Только вот что, Оля, – примолвил он, как-то странно помаргивая своими заплывшими глазками, – ты уж Ранцова не срами!.. Для меня хоть!..

Она глянула ему прямо в лицо:
– Опять профершпилились⁸?
– Такое чертовское несчастье! – вскрикнул он, ударяя себя что мочи по боку. – Третьего дня у Волжинского пять талий сряду, – в лоск!.. Последние десять целкашей, сюда едучи, отдал... То-есть, *à la lettre*⁹, ни гроша!..

– Вы капитану сколько уж должны? – спросила барышня.
– Семьсот... кажется! – неуверенно пробормотал он.
– А теперь сколько вам надо?
– Да если б... полтысячки дал...
– Хорошо, я ему скажу.
– Ах ты мой министр финансов! – восторженно возгласил толстый Елпидифор, схватил обеими руками дочь за голову и звучно чмокнул ее в лоб.
– То-то министр! – досадливо промолвила она, поправляя прическу. – А вы-то... – Она не договорила и ушла из беседки...

– А ты все же погоди, старикашка противный, – утешала она себя по пути, – я тебе отомщу!..

Как она ему отомстит, она, разумеется, не знала...

XVII

Ашанин стоял перед Софьей Ивановной в комнате, которую она занимала в большом доме, со шляпою в руке, готовый уйти. Он только что успел передать ей разговор их с князем, «припадок» Сергея и свои опасения за него...

На умном лице Софьи Ивановны читалось заботливое раздумье – она обсуждала и соображала:

– Что он (то есть князь Ларион), – говорила она, – сказал это в *том* намерении, вы не ошибаетесь, и я даже не могу на него за это сердиться... Предварил заранее – дело сделал!.. хотя я опять-таки не пойму, из-за чего он так заранее обеспокоился!.. Ведь не мог же Сережа дать ему повода... Я его знаю, – что бы ни происходило у него теперь на душе, он слишком благовоспитан, чтобы показать...

– Он ничем и не показывал, – заверил Ашанин, – и ни бровью не моргнул; мы же все время вместе на сцене были... а вы из залы видели...

– Так с чего же вздумал этот старый мудрец?.. – размышляла Софья Ивановна.

– Я начинаю подозревать... не заметил ли он чего-нибудь со стороны...

– Со стороны княжны! – договорила она, быстро вскинув глазами на молодого человека. – Едва ли!.. Она так сдержанна!.. Да и много ли они видались-то с Сережей?.. А мила-то она, уж как мила! – вздохнула, помолчав, тетка Гундунова. – Нет, это он так, с большой хитрости... Каподистрию вспомнил! – засмеялась она привычным своим коротким, обрывистым смехом.

Ашанин положил шляпу, пододвинул стул и сел подле нее:

– Софья Ивановна, – начал он шепотком, – а что же... если бы княжна действительно... отчего же бы?..

– И, милый мой, – махнула она рукой, – разве об этом возможно думать? Разве они такие люди? *Эта Аглая* — ну, само собою!.. А то, вы видите, и он... боярин опальный, – и он туда же!..

– Я все это очень хорошо знаю и понял с первого раза, – молвил красавец, – но ведь если посмотреть поближе, с фанабериею этой можно же и сладить. Ведь ничего же существенного они против Сережи сказать не могут. «Положение»? Да какое там «положение» бывает в наши года?.. А если только княжна захочет, чем же Сережа ей...

– А тем, – не дав ему договорить, с сердцем возразила Софья Ивановна, – что такая уж у нас безобразная страна вышла, что *Гундуров* — а Гундуровы-то, вы знаете, все одно, что Всеволожские да Татищевы, только титла не носят, а те же Рюриковичи, – Гундуров не *партия* для княжны Шастуновой; а вот какой-нибудь Фитюлькин в аксельбантах – тот жених и аристократ, потому что повезет жену на бал в Концертную залу!..

– На то он и Фитюлькин, – засмеялся Ашанин, – у нас, известно, «чем новее, тем знатней¹!»

– «Тем знатней», – машинально повторила Софья Ивановна, – кто бишь это сказал?

– Пушкин.

– Да, да!.. Прекрасно сказано... Очень уж их любят *там*, этих новых!.. Они надежнее, видите ли, вернее старых родов... Мы, видите ли, революционеры!..

Софья Ивановна пожала плечами и торопливо нюхнула табак из крошечной золотой табакерки, которую носила под перчаткой; перчатки же, по старой привычке, – и не иные, как *шведские*, – никогда не снимала, когда была в гостях.

– И чутьем чую, – продолжала она, – да и вскользь слышала даже от кого-то в Москве, не помню, что какого-либо такого да непременно уж имеют они в предмете для княжны... *Эта Аглая*, то есть! – поправились Софья Ивановна. Она хоть и сердилась на князя Лариона и в душе чувствовала себя очень оскорбленной им за племянника, но все ж он был для нее не «*эта Аглая*...»

– А мы с Фитюлькиным *прю* заведем²! – сказал, смеясь, Ашанин, почитывавший иногда издававшийся в те годы покойным Погодиным «Москвитянин»³.

Софья Ивановна невесело закачала головой:

– Бедный мой Сережа!.. Вы говорите, он и не догадался?.. Чист и прост, – коротко засмеялась она, – как голубь!.. И совет о путешествии принял с благодарностью? Что же? Это хорошо, очень хорошо! Только скорее бы, скорее его отправить!.. Знаете, мой милый, я, чем более думаю... я даже очень рада, что князь Ларион прочел ему эту, как вы говорите, «нотацию». И вы очень хорошо сделали, что ему объяснили... Только уж теперь ни слова более! На него наседать не надо! Он горд и самолюбив до крайности... вы уж оставьте его со всем с этим, пусть он сам... И я сегодня же, сейчас после обеда уезжаю к себе в Сашино – мне к тому же *эта Аглая* не по силам... Это важничанье, глупость!.. Предоставим его себе, его собственному рассудку, вот как Mentor, когда он оставил Телемака на острове Калипсо⁴, – улыбнулась милая женщина, – я так думаю, что с ним произойдет... как это говорится? – *une réaction*⁵. Ах, если б этот не ваш дурацкий спектакль, я бы его, кажется, завтра же в дорогу снарядила!..

– Однако, мне пора, Софья Ивановна, – сказал, подымаясь, Ашанин, – одеваться; да и вам также... Здесь, вы знаете, к обеду – как на бал!..

– У меня мое *robe feuille-morte*⁶ неизменно, – живо возразила она, – другого для *beaux yeux*⁷ Аглаи не надену!.. – Она встала проводить его.

– Сережа влюблен! – начала она опять, останавливаясь у дверей. – Признаюсь вам, я до сих пор помириться с этой мыслью не могу. С каждым молодым человеком это бывает, но при его характере... это может быть опасно... очень опасно!.. Мне даже представляется теперь, что, кажется, лучше было бы, если бы он...

– На меня походил? – договорил со смехом Ашанин. – Признайтесь, генеральша, что вы именно об этом подумали в эту минуту!

– Ну, нет, – полушутливо-полусерьезно отвечала она, – от этого Боже сохрани каждого! Очень уж вы безнравственны, мой милый! Только Бог вас знает, как это вы делаете, что на вас сердиться нельзя... Сердце-то у вас золотое, вот что! И я вам от сердца благодарна за вашу дружбу к Сереже...

– Нет, генеральша, – комически вздохнул неисправимый шалун, – я больше за добродетель мою погибаю! И тяжкие наказания за это несу, очень тяжкие!..

Софья Ивановна взглянула на него:

– Господи, да уж не напели ли вы чего гувернантке здешней? – внезапно пришла ей эта мысль.

– Вы почему знаете? – с удивлением спросил он.

– Да она тут сейчас была: Аглая ее ко мне приставила, и она меня устраивала в этой комнате... Гляжу, а на ней лица нет. – Что с вами, говорю, моя милая? Вы, кажется, чем-то расстроены? – А она – в слезы и выбежала вон...

– В слезы, непременно-с! – закивал утвердительно Ашанин. – Слез у нее много! Вот если б у меня столько же денег было!..

– Ах, вы, негодник! Да ведь она и не молода уж?

– Не молода, Софья Ивановна! – повторил он с новым вздохом.

– И даже не очень хороша?

– Даже очень нехороша, Софья Ивановна!

– Никому-то у него пощады нет, бессовестный человек! Ну, на что она вам, несчастная, нужна была?

– А у нас, видите ли, матери Гамлета не было, и некому кроме нее играть. А она уперлась как коза: не хочу, да и все тут!.. Я собою и пожертвовал!..

Софья Ивановна не на шутку рассердилась:

– Подите вы от меня с вашими гадостями! И хороша причина – «Гамлет»! Да если бы вы этого вздора здесь не затеяли, Сереже поводу не было б безумствовать!..

– Чему быть, тому не миновать, Софья Ивановна, – смиренно заметил на это Ашанин, – не здесь, так у вас в Сашине встретился бы он с княжною.

Она не нашла возражения на этот довод.

– А все же вы бесстыдник! – проговорила она еще сердито.

Шалун отвечал ей глубоким поклоном и побежал в свою комнату. Гундурова он уже не застал; по словам Федосея, он, одевшись, ушел в сад прогуляться до обеда.

XVIII

*Vanity fair*¹!

Княгиня Аглая Константиновна с жизнью английских замков была действительно, как говорил князь Ларион, знакома; то есть, в сущности, она была однажды в *Шипмоунткасле*, замке лорда Динмора, в Кемберленде, куда приглашена была «на восемь дней»¹⁶ с мужем, состоявшим тогда при лондонском посольстве, года полтора после своего замужества. Но эти восемь дней, проведенные в обществе чистокровнейших *вискоунтов*² и элегантнейших *marchionesses* (маркизы), остались навсегда лучезарнейшим воспоминанием ее жизни, и она гордилась им более, чем всеми почестями, довлевшими ей впоследствии при том маленьком германском Дворе, при котором князь Михайло Шастунов состоял представителем России... Не на розовом ложе, сказать кстати, прошло для новобрачной Аглаи пребывание ее в Лондоне. Князь Михайло, сам воспитанный в Англии, принятый там в обществе как свой, не изменил ни своего образа жизни, ни отношений, женившись против воли на российской девице Раскаталовой; он на первых же порах предоставил ей проводить жизнь как ей заблагорассудится, а сам проводил ее у ног одной, тогда весьма известной, обаятельной умом и красотой и эксцентричной леди, – которая, упомянем мимоходом, после двухлетней с ним связи в один прекрасный Божий день улетела от него в Италию, вышла там от живого мужа за немолодого уже, но еще сладкозвучного тенора, кинула его через полгода, вступила в третий брак с одним очень красивым, но очень глупым греческим офицером, дала ему плюху на другой же день после свадьбы за то, что он ел оливки руками, бросила и его и умерла наконец от побоев четвертого супруга, шейха одного бедуинского племени, заставшего в своем кочевом шатре *in criminal conversation*³ с каким-то французом, путешествовавшим по аравийской степи... Дерзость и насмешки этой сумасбродной, но блестящей женщины, с которой ревнивая Аглая имела неосторожность где-то сцепиться, оскорбленное самолюбие, скука одиночества, неудовлетворенная страсть к красавцу-мужу чуть было совсем с ума не свели ее тогда. Но зато она провела «восемь дней» в Шипмоунткасле и во все эти восемь дней, в своем качестве *princess*¹⁷, брала, по иерархическим обычаям английского реережа⁵, шаг к победе надо всеми тут бывшими герцогинями и маркизами, и – что в ее раскаталовских понятиях было гораздо для нее лестнее – даже над

¹⁶ Такие приглашения в Англии бывают всегда на срок, по истечении которого гостившие уступают место новым приглашенным.

¹⁷ С княжеским титулом в Англии, как и вообще на Западе, всегда соединяется понятие царственного происхождения.

женою одного из тогдашних английских министров, – «figurez vous cela, ma chère!»⁶ – долго еще потом удивлялась она, рассказывая об этом приятельницам своим на континенте... Политическая и культурная Англия ничего не прибавила к умственному запасу нашей princess'bi; прожив там более трех лет, она трех фраз не могла сложить по-английски; для чего, «когда есть там свой король», собираются еще люди в какой-то *парламент*, значение которого, когда она еще девочкой была, madame Crébillon, воспитательница ее и бонапартистка, объясняла ей такими словами: «un parlement, ma chère amie, – ainsi nomme parce qu'on y parle et qu'on y ment»⁷, и как этот английский король позволяет этим людям «болтать и лгать» в этом парламенте, – она до конца уяснить себе не могла. Разница между *вигами* и *ториями*⁸, почему *лорд-мэр*⁹ «не настоящий лорд, когда он называется лордом», что значит «Оранский дом»¹⁰, и «что такого хорошего в этом Байроне, dont parle toujours Michel»¹¹, т. е. ее муж, – все эти хитросплетенные мудрости так и остались для нее на всю жизнь не разобранными гиероглифами. Но зато в эти незабвенные восемь дней, проведенные ею в Шипмоунткасле, Аглая Константиновна постигла высшим наитием все тайны внешнего облика английской аристократической жизни, уразумела все порядки богатого английского дома, от drawing room'a (гостиной) и до конюшни, от столовой *сервировки* и до покроя выездных ливрей. Чинный, чопорный, важный склад этих порядков, эта широкая, преемственная, величавая обстановка существования, презрительно относящаяся ко всякой эффектности, но в которой, от старого слуги и до игровой шетки, все носит на себе характер какой-то незыблемости и почтенности (respectability), поразили ее своим глубоким противоречием с безалаберною, полутатарскою, шероховатою, всегда словно случайною и вчерашнею, русскою роскошью, – тою дикою роскошью, среди которой выросла она сама под раззолоченными карнизами своего отчаянно икавшего после обеда «папаша»... В силу каких исторических и нравственных условий все это сложилось и могло держаться там так величаво и почтенно и так бестолково и распушенно в родных палестинах, Аглая сообразить была не в состоянии, да и не думала об этом. Вся сумма ее впечатлений выразилась в одной мысли: «вот как должны жить les gens comme nous»¹²!... И с этой минуты, с этих блаженных «восьми дней» в Шипмоунткасле, пред нею вырос идеал: «поставить дом мой на английскую ногу». Каждому свое, сказал древний мудрец. Кто знает, как без этого идеала совладала бы Аглая с муками своей ревности, с тем «délaissement»¹³, как выражалась она, в каком оставлял ее муж до того дня, когда, почувствовав в груди первые признаки унесшей его два года потом болезни, он воротился, усмиранный и кающийся, к семейному очагу, – к очагу, устроенному ею «на английскую ногу»! Кто знает, от каких соблазнов спасали Аглаю глубокомысленные соображения о выборе вензеля на новый фарфоровый сервиз к столу или цвета материи для заказанного в Лондоне кэба! А сколько несказанных утешений доставляло ей изумление и тот даже некоторый террор, которые, бывши уже посланницей, внушала она пышным устройством своего дома расчетливым немцам, при которых муж ее был аккредитован, и корреспонденции из обитаемого ею города в парижские газеты, в которых говорилось: ¹⁴«la grande existence, le luxe intelligent de monsieur le prince de Szastounof, ministre de Russie», или уже прямо о ней, о том, что было ей так близко: За tenue *toute anglaise* de la maison de madame la princesse de Szastounof»⁻¹⁴ и т. п. ...

В Сицком еще до приезда приняты были ею меры для устройства жизни в то же подобие незабвенного Шипмоунткасля. Заказаны были новая каменная ограда и лев с гербом на воротах, знакомые уже нашему читателю. Многочисленная, оплывшая от бездействия в продолжение долгого отсутствия господ дворя была заранее обмыта, выбрита, острижена, облечена в безукоризненные черные и ливрейные фраки, обута в сапоги без каблуков, – «чтоб на ходу не стучали», писала княгиня своему управляющему, – и мягко выступала теперь по коврам и паркетам, внимательная, степенная и безмолвная... Из-за границы ожидалась оставлен-

ные там всякие экипажи. Присланным из Москвы живописцем изготовлена была для большой гостиной копия с портрета старика князя Шастунова, так как князь Ларион не соглашался на перенесение оригинала из своих покоев, а по понятию Аглаи Константиновны¹⁵ «dans un premier salon надо непременно un portrait d'ancêtres»¹⁵. Monsieur Vittorio, главный исполнитель ее распоряжений и мажордом, вел бдительный надзор за порученными наемным и дворовым мастеровым всякими переделками и починками по дому и ходил каждое утро со своими книгами и доносами к княгине, которая проверяла первые до малейшей копейки, а по вторым клала собственноручные, большею частию строгие, резолюции... Распределение времени «однажды навсегда» велось по хронометру покойного князя Михаила Васильевича, который Vittorio приказано было носить в кармане жилета «в особом кожаном мешочке» и по которому поверялись через день все часы дома. Трапезы имели чисто английский характер: утром в 10 часов сервировался первый завтрак, breakfast – чай, масло, яйца, картофель и холодная говядина; в 2 часа пополудни подавали второй завтрак, luncheon, – вернее, целый обед из 4 блюд, только без супа и без сладкого. Обедали в шесть, «car ces estomacs russes ne pourraient jamais attendre plus longtemps»¹⁶, рассудила Аглая Константиновна. Между завтраками предоставлялось каждому делать из себя что угодно; от 3 часов до обеда предполагались прогулки или поездки «en commun»¹⁷, любоваться на виды», – время это теперь занято было репетициями. «Для серьезных людей» подле столовой устроена была readingroom, читальня, где на большом круглом столе разложены были «Indépendance Belge» и «Journal de St. Pétersbourg»¹⁸, какие-то выписываемые по старой памяти бывшею посланницей «Hannoversnachrichten» и из русских «Северная пчела» и «Современник»¹⁹, «pour être au courant de la littérature nationale»²⁰, покровительственно говорила владелица Сицкого...

Но английские порядки княгини Аглаи Константиновны приходились, видно, «не по зубам», как выражался исправник Акулин, большинству соотечественников, под предлогом репетиции наехавших к ней из окрестностей, в расчете на бесцеремонные обычаи стародавнего барского хлебосольства. Пораженные вестью о белых галстуках и платьях *декольте* к обеду, отяжелевшие помещики и распустившиеся в деревенской лени соседки поспешили убраться по домам и, трясаясь в своих доморощенных бричках, долго и злобно, с высоты своего оскорбленного дворянского достоинства, обзывали бывшую посланницу «*кабацкою павой*» и «зазнавшимся *раскаталовским отродьем*», – что, впрочем, нисколько не помешало тому, что в тот же вечер, на двадцать пять верст кругом, вытаскивались из старых сундуков залежалые фраки и отставные мундиры, и всякие Аришки и Палашки кроили при свете сальной свечи разнообразнейших фасонов кисейные и барежевые платья, «на случай», приказывали им господа, «соберемся как-нибудь к Шастуновым опять»... В Сицком остались обедать почти исключительно участвовавшие в спектакле. *Пулярки*, во избежание новой обиды их или нового скандала с их стороны, заботливо поручены были отъезжавшими мамашами ближайшему надзору и покровительству образованной *окружной*.

XIX

Люблю я час

Определять обедом, чаем¹...

Пушкин.

Обед был отличный, а сервировка его еще лучше. Хозяйка, сидевшая между Чижевским, генерал-губернаторским чиновником и Зяблиным, с самодовольною улыбкою поглядывала на

свое великолепное серебро от *Стора* и *Мортимера*¹⁸, богемское стекло и саксонские тарелки, на безупречную tenue² своих гостей и переносилась мыслью к далекому Шипмоунткаслю: «с'est presque aussi *cossu* chez moi que chez les Deanmore³!», думала она свою ежедневную в эту пору думу, в то же время приклоняя ухо к сладким речам, которые нашептывал ей слева «Калабрский брига́нт»... Разоренный московский лев, много денег и трудов положивший в свое время на успешное, впрочем, *Печоринство* в московских салонах, вел с самой зимы правильную осаду миллионам княгини Аглаи Константиновны. Представленный ей вскоре после возвращения ее из-за границы, он направил было батареи свои на княжну Лину, но весьма скоро сообразив, что из этого ничего не выйдет, начал громить ими самое маменьку, и, как имел он поводы думать, небезуспешно. Сорокалетней барыне нравились его разочарованные аллюры, его молчаливые улыбки и сдержанные вздохи, сопровождаемые косыми взглядами направляемых на нее несколько воловьих глаз. И когда князь Ларион, который терпеть его не мог, спросил ее однажды: «Что, вам очень весело бывает с господином Зяблиным?», она покраснела и недовольным тоном отвечала: «Ne le touchez pas, Larion, je vous prie, c'est un être incompris⁴!» Князь прикусил губу, покосился на нее с тою сардонической усмешкой, какую постоянно вызывали в нем ее трюизмы, и отрезал: «Болван и тунеядец, ищущий приданого!» С тех пор он вовсе перестал замечать «бриганта»; Зяблин уже не отставал от княгини и с каждым днем почитал себя ближе и ближе к своей цели... Он был теперь особенно в ударе, после того как она сказала ему в театре, что он будет очень хорош в костюме *Клавдио*, и отпуская ей нежность за нежностью.

Чижевский, высокий, рыжеватый молодой человек лет 26-ти, со смелыми карими глазами и высоко приподнятою головою, вследствие чего почитался московскими *львицами* за непроходимого фата, был на самом деле *душа-малый*, веселый и в то же время мечтательный, вечно влюбленный платонически в какую-нибудь женщину и всегда готовый выпить бутылку шампанского с хорошим приятелем. Неистощимый рассказчик, он передавал своей соседке, Софье Ивановне, один из удачейших своих анекдотов и внутренне удивлялся, что вместо ожидаемого им громкого смеха на лице ее едва скользила снисходительная улыбка. Но Софье Ивановне было не до анекдотов. Она украдкой следила взглядом за племянником, сидевшим на конце длинного обеденного стола, и тосковала всею той тоскою, которую читала на его лице. Он сидел между Духониным и Факирским, бледный и безмолвный, не подымая ни на кого глаз и едва притрагиваясь к своей тарелке, и безучастно внимая какому-то оживленному спору, затеявшемуся, казалось, между его соседями.

Более счастливая, чем Чижевскому, доля выпала Шигареву, которого хозяйка, с тайною мыслью обеспечить за собою любезность «Калабрского брига́нта» на все время обеда, посадила по другую сторону одной московской тридцатилетней княжны, своей приятельницы, только что перед самым столом приехавшей в Сицкое. Шигарев, слышавший о ней как об очень умной девушке, счел нужным повести с нею «серьезный» разговор. Тем для такого «серьезного» разговора было у него исключительно две: о том, во-первых, что у него «тысяча без одной», т. е. 999 душ, и конский завод в Харьковской губернии, а во-вторых, о его родном брате, который также был харьковский помещик и тоже имел тысячу душ и завод, но не конский, а мыловаренный. Шигарев был чрезвычайно братолюбив и об этом брате рассказывал с такими подробностями и так нежно, что слушателей его обыкновенно начинало в это время тошнить. Но вследствие ли того, что предварительно было им сообщено о числе владеемых им душ, или просто потому, что для тридцатилетней девицы и Шигарев – человек, только умная московская княжна внимательно глядела на него маленькими прищуренными глазками и поощрительно улыбалась. На этот раз вариация на тему брата заключалась в том, что у этого брата необык-

¹⁸ В то время особенно славившиеся лондонские фабриканты серебряных изделий.

новенно развиты были мускулы правой руки, так что «когда он протянет ее крепко, сейчас и выскочит у него на ней клубок величиною в апельсин».

– Да, я слышала, – подтвердила княжна, – это бывает... у мужчин, – словно захлебнулась она.

– Не у всех! – горячо возражал Шигарев. – У брата моего, да! Но не у всех... Вот на моем заводе у двух моих лошадей сделались такие же, как апельсин, гули у самых ноздрей... – он не выдержал и вдруг загаерничал: – *Гуля*, вы не знаете, это у нас так по-хохлацки... а вы думали, голубей кличут? Гули, гули, гуленьки, гули, гули, голубок... – он заходил носом, губами, изображая голубиное воркованье.

И московская княжна, закрыв уже совсем свои маленькие глазки, смеялась до упаду, восхищаясь этим милым «оригинальничаньем»...

В стороне молодежи велся иного рода разговор:

– Да-с, в Одессе вышла небольшая книжка, – говорил Факирскому маленький господин, которого звали Духониным, – он принадлежал к «соку московской умной молодежи», – поправляя золотые очки на носу, – имя совершенно неизвестное: какой-то *Щербина*⁵... Общее заглавие – просто: «Греческие стихотворения».

– Знаю! – крикнул ему через стол Свищов. – Со мною даже есть она, из Одессы получил... Хорошо!

– Это, что мы с вами вечером вчера читали? – спросил сидевший подле Свищова толстый Елпидифор. – Первый сорт, скажу вам-с! Наизусть даже помню...

И он негромко стал декламировать:

Я всему здесь поверить готов,
В сем чудесном жилище богов,
Подсмотрев, как склонялись цианы,
Будто смятые ножкой Дианы,
Пробежавшей незримо на лов.
Я всему здесь поверить готов...

– Да, да, так! – закивал Духонин, до которого донеслись некоторые рифмы, не без некоторого удивления глядя на этого страстного к искусству уездного капитан-исправника.

– Каков эпикуреец? – подмигнул с своей стороны Свищов.

– Ну-с, и что же эти стихотворения? – пожелал узнать Факирский.

– А то «*ну-с*», – несколько обидчиво ответил благовоспитанный Духонин, – что это прелесть!

– Антология-с! – с пренебрежением сказал студент.

– Да-с, новая мысль в античной форме, то именно, чего желал Шенье⁶:

Sur les penseurs nouveaux faisons les vers antiques⁷!

– Не знаю-с, – сказал студент, – только нынешнему человеку петь на античный лад не приходится.

– Это почему-с?

– Да потому... – Студент искал, как бы ему яснее выразиться, – потому что ему тогда *сузить* себя надо...

– Ах, сделайте милость, – засмеялся Духонин, – подите, *сузьтесь* до Гомера!..

– Современному человеку Жорж Санды нужны⁸, а не Гомеры! – со всем пылом и искренностью молодого увлечения возгласил Факирский.

– ⁹Скриба ему нужно! – громко хихикнул ему на это Свищов. – И именно Скриба *на музыку* Обера⁹!..

Студент ужасно оскорбился за своего кумира:

– Это что же-с! – проговорил он, подергивая плечами. – Ведь так, пожалуй, можно и родного отца на площади охаять!..

– Совсем нет-с, это я, напротив, в смысле вашем же говорю, – замигал ему Свищов и правым, и левым глазом, – вам известно или нет, что в Брюсселе после первого представления Фенеллы¹⁹ толпа вышла из театра, поя хором: «*amour sacré de la patrie*»¹⁰, дуэт второго действия, и в ту же ночь выгнала из города голландцев?.. Вот-с они каковы, Скриб-то с Обером!..

– А вы, батенька, потише при мне, – шепнул, толкнув его слегка в бок, исправник. – Я ведь здесь в некотором роде правительственная власть!..

– Ну какая вы власть! – расхохотался Свищов, не без некоторой тревоги, впрочем, заглядывая в лицо Акулину. – Вы у нас *жуир*¹¹, а не власть!..

– Нельзя, услышит, пожалуй! – объяснил толстый Елпидифор, кивнув на князя Лариона. А князь Ларион, сидевший по другую сторону Софьи Ивановны, говорил ей тем временем:

– Не знаю, успел ли передать вам Сергей Михайлович о нашем сегодня с ним разговоре и о моем совете ему?

– Знаю, очень вам благодарна! – ответила она. Он взглянул на нее, несколько удивленный сухостью, показалось ему, ее тона.

– Очень! – повторила она, кивая головой. – Вы правы, ему здесь нечего делать! – подчеркнула она... – Особенно если вы устроите ему потом...

– Это непременно! – не дал он ей кончить. – И это мы в Москве же устроим. Не понимаю даже, для чего ваш племянник ездил в Петербург подавать свою просьбу: ваш главноуправляющий, при дружбе своей с... – князь назвал одного очень высокопоставленного в то время сановника, – все может теперь... Я через него обделаю...

Софья Ивановна наклонила голову в знак признательности.

– Я очень интересуюсь вашим племянником, – заговорил опять князь Ларион. – Мне много говорили в Москве зимою о его блестящих способностях и познаниях, и, сколько я мог сам судить за это короткое время, он действительно далеко недюжинный молодой человек. Если бы я был во власти, я бы непременно...

– Ничего для него бы не сделали! – быстро промолвила Софья Ивановна, которую уже давно подмывало сказать ему что-нибудь неприятное.

– Почему же вы так думаете? – недовольным тоном спросил он.

Она поспешила обратить слова свои в шутку:

– Я Писания держусь: *не уповай ни на князя, ни на сына человеческого*...

– Я не могу вам воспрепятствовать почитать меня за эгоиста, – сказал, слегка усмехаясь, князь Ларион, – попрошу вас верить только в то, что я *по принципу* старался бы проложить Сергею Михайловичу дорогу. Мудрое правительство должно было бы всегда, по-моему, иметь таких *намеченных* им, так сказать заранее, для занятия в будущем высших должностей в государстве молодых людей, которые, как ваш племянник, к счастливой случайности рождения и независимости по состоянию присоединяют еще приобретенное самими ими солидное высшее образование.

«Очень красно, только ты племянницы-то своей этому „намеченному“ дать не намерен!» – подумала Софья Ивановна, и опять неудержимо захотелось ей кольнуть чем-нибудь «старого лукавца».

¹⁹ La muette de Portici.

– Я о правительстве не скажу, – громко проговорила она, – но у нас, по Писанию тоже, и *своя своих не познаша!*..

Захотел ли или нет понять князь Ларион этот намек, но он прекратил разговор справа и обратился с каким-то вопросом к сидевшей у него по левую руку *образованной окружной*.

Глаза еще взволнованной Софьи Ивановны бежали кругом стола и с какою-то бессознательною, но глубокою нежностью остановились на княжне Лине, с обеих сторон которой две из *пулярок*, чуть не повисши ей на плечи, ужасно торопясь и перерывая друг друга, передавали ей какой-то вздор. Софье Ивановне самой себе не хотелось признаться в том чувстве, которое неотразимо влекло ее к этой девушке. Давно ли, когда Сергей приехал из Сицкого, и она его исповедовала, она не только ужасалась мысли предстоявших ему недочетов, но и самый успех его, думала она, был бы, кажется, для нее тягостен... Тогда она обеими руками, не задумавшись, подписалась под разумным приговором князя Лариона: «не женятся в 23 года, не создав себе никакого положения, не сделав ничего ни для общества, ни для себя»... Теперь все соображения ее перепутывала и смущала одна упорно, неотступно набегавшая ей в голову мысль: «А что же, если и *она*, это милое создание, полюбит Сережу, что же тогда?..» И она, сама себе в этом не давая отчета, досадливо отгоняя этот «соблазн» каждый раз, когда представал он перед нею, страстно, с каким-то молодым биением сердца, жаждала теперь, чтоб это случилось... чтоб «это милое создание», эта синеокая, изящная, тихая девушка... так напоминающая его, отца своего, чтоб и она... да... И Софья Ивановна отуманенными глазами глядела, любясь, на тонкий облик Лины, и в голове ее проносилось, что, если бы уж *на то* была воля Божья, она и не знает, кого бы из «них двух» она более любила!..

Княжна как бы почувствовала на себе проникающую струю этого взгляда: она подняла голову, встретила глазами с Софьей Ивановной и улыбнулась. «Да, люби меня, я хорошая!» – так и говорила эта улыбка.

У Софьи Ивановны забилося в груди как в двадцать лет...

«Господи, точно я сама влюблена в нее!» – подумала она, дружески кивая ей через стол.

Княжна тихо отвела от нее глаза, вскинула их на мгновение в сторону, где сидел Гунду-ров, и опять, вопросительно будто, взглянула на нее:

«О чем *он* тоскует?» – прочла в них ясно Софья Ивановна...

Старый официант с седыми бакенбардами и строгою физиономией, наклонясь тем временем к уху исправника, передавал ему на тарелке продолговатый конверт под казенную печать и шептал ему таинственно и внушительно:

– Сею минутою из города к вам рассыльный; наказывал-с, что очень нужно...

Исправник торопливо вскрыл на коленях конверт, вынул из него бумагу и какое-то вложенное в нее письмо, прочел надписанный на нем адрес и, так же торопливо обернувшись к слуге:

– Князю Лариону Васильевичу сейчас! – передал он ему письмо и, слегка дрожавшими руками развернув под столом полученную им бумагу, принялся читать ее.

Слуга с тем же таинственным видом и молча поднес письмо по назначению.

Князь с некоторым удивлением взглянул на него, узнал почерк на адресе, тотчас же взял его с тарелки и спросил:

– Кем доставлено?

– Господин капитан-исправник приказали вашему сиятельству вручить-с, – отчетливо, певуче и протяжно доложил старый дворовый, от преизбытка почтительности совсем уж неестественно приподымая седые брови.

– Вам с нарочным прислано? – громко обратился через стол князь к Акулину.

– Точно так-с, – приподымаясь наполовину со своего стула, отвечал толстый Елпидифор, – получил сейчас в пакете, с извещением, что их сиятельство изволят проследовать через наш уезд в соседнюю губернию, – в имение свое, в Нарцесово, надо полагать, ехать изволят. Отъезд из Москвы назначен по маршруту в пятницу, 19-го числа, а в субботу утром *они* намереваются быть здесь, в Сицком-с...

– Le comte¹²? К нам? – вопросительно протянула княгиня Аглая Константиновна, скрывая причиняемое ей этой вестью удовольствие под равнодушной улыбкой.

– Они, ваше сиятельство, – поспешил подтвердить исправник.

– Официальности, официальности-то на себя что напустил! – хихикнул вполголоса Свищов, подмигивая через стол Духонину, – эпикуреец, а?

– Отстаньте, служба! – таким же, но сердитым шепотом осадил его Акулин.

– Я его знаю – *графа!* – громко возгласила Ольга Елпидифоровна, которая сидела между двумя обожателями своими, Ранцовым и Маусом, и в продолжение всего обеда занималась тем, что дразнила и натравливала их друг на друга. – Когда я была на бале в Благородном собрании с генеральшей Дьябловой, она меня познакомила... Он очень добрый старик и смешной такой: голова точно арбуз, лысая вся кругом. Он мне руку дал, любезный очень был и сказал мне, чтобы я чаще приезжала в Москву, – домолвила самодовольно барышня, – причем почтенного родителя ее так и повело, так как *граф* (чего не сказала вслух Ольга), приглашая ее чаще бывать в Москве, прибавил к этому: «А отцу скажите, чтобы в карты меньше играл!..»

– А мне придется отсюда скрыться куда-нибудь на время, – засмеялся Чижевский, – я у него насилу выпросился на 28 дней, родных повидать, – и вдруг он меня найдет здесь на сцене... Беда какого даст нагоняя!..

– ¹³Ne craignez pas, я ему скажу et il ne vous fera rien¹³! – обнадежила его с высоты своего величия княгиня.

Князь Ларион читал тем временем письмо от *графа*. Оно писано было крупными растянутыми буквами, как пишут начинающие дети и грамотные лавочники, и занимало все четыре страницы большого почтового листа. Содержание его, по-видимому, представляло значительный интерес, потому что князь то хмурился, то разжимал брови и сосредоточенно вникал, казалось, в смысл каждой строки. Он добрался до конца, сложил письмо.

– Извините за мою неучтивость, – своим любезным и повеселевшим тоном проговорил он, обводя легким поклоном своих соседок, – я так бесцеремонно занялся чтением... Вот и ближайший случай обделать дела Сергея Михайловича, – шепнул он тут же Софье Ивановне. И, подняв голову:

– Нарочный ваш еще здесь? – спросил он опять громко у исправника.

– Здесь еще, ваше сиятельство!..

– И может подождать несколько?

– Сколько прикажете-с!

– Так я после обеда напишу и попрошу вас письмо мое распорядиться доставить скорее на почту...

– Я сам, если позволите, ваше сиятельство, доставлю его в город сегодня же, – отвечал Акулин, – и для большей скорости не прикажете ли отправить его с эстафетой?

– Очень хорошо-с!..

– А *Полония* что ж, побоку, значит? – раздался вдруг как из бочки, к общему смеху, встревоженный и раздраженный голос, – голос «фанатика», безмолвно до сих пор лишь отваливавшего себе огромные куски с блюд, которые пожирал с алчностью, достойною гомеровского Полифема¹⁴.

– Я вернусь завтра же к полудню, – сказал смеючись исправник, – а на сегодня уж извините: служба прежде всего-с...

– Дороги не в исправности? – шутливо спросил князь Ларион.

– На этот счет смею просить извинения вашего сиятельства, – возразил почтительно-обиженным тоном толстый Елпидифор, – по губернии, смело могу сказать-с, нет дорог исправнее моих! А паром на реке Наре осмотреть нужно. С торгов отдастся, изволите знать; возят, не жалуются... Только под проезд их сиятельства, чтоб не задержали как-нибудь, заранее приказание отдать, чтобы к 19-му числу народ нагнать на реку на всякий случай...

Князь Ларион усмехнулся с тем полупрезрительным, полускучающим видом человека, которому из долголетней практики службы в высших чинах до тошноты ведома вся эта история начальнических поездок по только что закиданным колеям отечественных дорог, с бешено скачущим впереди на тройке исправником и «нагнанным» народом на переправах, – но который из той же практики давно убедился, что ничего с этим не поделаешь и что этими порядками стояла и будет стоять Святая Русь до скончания веков...

XX

Любви все возрасты покорны¹...

Пушкин.

Тотчас же после обеда князь ушел к себе, попросив прислать кофе к нему наверх. Это значило, что он не скоро намерен вернуться к обществу... То, что имел он ответить на полученное им письмо, требовало размышления. *Граф* – с которым он был в дружеских связях еще со времен Отечественной войны, когда юношею, прямо со скамьи Лейпцигского университета он поступил дипломатическим чиновником в походную канцелярию князя Кутузова, – писал ему о *предложениях*, имеющих быть ему сделанными из Петербурга и о которых он, т. е. *граф*, передаст ему подробнее при личном свидании в Сицком, – но что его, *графа*, просят заранее узнать: согласен ли будет вообще князь снова вступить в службу, «потому», говорилось в письме, – «если *вообще переменить* своего покоя не хочешь, – то *ничего тебе* и предлагать. А потому отпиши сейчас, *чтоб* и я мог *немедля* про тебя *что просят* отвечать...» Князь знал, *кто* просит об этом его ответе его почтенного, хотя и не очень грамотного старого друга: он знал, что оттуда могли идти лишь веские по своему источнику *предложения*... Он мог опять попасть во власть – и невольно проносились у него в голове знакомые имена облеченных в высшие должности государства... «Кого же думают *там* заменить мною?» – спрашивал он себя с безотчетным любопытством, медленными шагами подымаясь по лестнице в свои покои... Он еще далеко не знал, какого рода ответ он даст *графу*. Власть?.. Он сознательно, потому что признавал долгом своей совести, отказался от нее два года тому назад... Ему было тяжело тогда: этот мир власти, в котором с юных лет было предназначено ему место, в котором он так долго был *своим*, – он был ему дорог... Но он отказался от нее и уехал в Италию... В воспоминании князя мелькали подробности этого отъезда: скверный октябрьский петербургский вечер с пронзительным ветром и дождем, полуосвещенное зало в здании почтовых карет в Большой Морской, два, исполненные гражданского мужества, бывшие его чиновника, пришедшие проводить его, охрипшая труба кондуктора... Затем опять дождь, свинцовое небо, нескончаемый путь до Таурогена, бессонные ночи в тесном экипаже, упреки и сожаления незадачливого честолюбия и на границе равнодушный голос таможенного чиновника, проверявшего паспорта, – голос, словно и теперь звеневший в его ухе и показавшийся ему тогда таким дерзким: – «князь Шастунов, отставной тайный советник, не угодно ли получить!...»

Он проезжал через Германию – Германию, почти ему родную во времена Тугендбунда и песней Кёрнера... Она вся теперь, от Одера до Майна и Дуная, горела огнем междоусобия. «От наших пергаменов Священного союза² вскоре, может быть, не останется ни клочка, – думал князь Ларион... – Но что же до этого *нам*? Разве мы свою, *русскую*, политику преследовали там,

на Венском конгрессе, удивляя мир нашим великодушием?...» Родина необъятным исполином вставала перед ним... «Colosse aux pieds d'argile?» – вспомнил он слово Mauguin'a³... «Нет, у нас одна задача – просвещение, один опасный враг – невежество, и мы его же теперь призываем в помощь себе на борьбу с тем, что, в ребяческом перепуге мним мы, грозит нам отсюда!..» И снова закипели на душе его недавние волнения, пробежали в памяти живые образы его петербургских врагов, и точно слышались ему звуки пререканий их с ним в советах и гостиных в те дни, когда все темнее и темнее набегали тучи бессмысленного страха, и над бедным русским образованием висел неминуемый удар...

Да, тяжело ему было тогда... И вот он достиг цели своего пути – приехал в Ниццу и велел вести себя в Hôtel Victoria, где, он знал по письмам, стояла семья его недавно умершего брата. Vittorio, которого он помнил курьером у князя Михайлы, встретился с ним на лестнице, узнал и побежал доложить... Дверь отворилась, он вошел... «Larion!» – вскрикнула княгиня Аглая – и за нею высокая девушка, в черном с головы до ног, с глухим рыданием упала ему головой на плечо...

Как живо теперь припоминал он это мгновение?... Он не видал ее лет шесть. Как мало походило на тогдашнюю впалогрудую, длинную девочку это стройное создание, бледное и прекрасное в своей немой печали, как мрамор Ниобеи⁴, с тихим пламенем мысли в васильковых глазах!.. Она его прежде всего поразила сходством своим с его братом, с которым он всегда был очень дружен и который всегда с глубокою любовью говорил о ней в своих письмах к нему. Тот же неулыбавшийся взгляд, то же изящное спокойствие внешнего облика, под которым у князя Михайлы скрывалась в молодости неудержимая страстность... «А дальше? – спрашивал себя в первые дни налаженный на сомнения князь Ларион. – Насколько тут к той чистой крови примеси от грубой натуры ее матери?..»

Недолго задавал он себе подобные вопросы... Их сблизила прежде всего эта дорогая им обоим память о князе Михайле. Они каждый день говорили о нем... Он умирал, медленно угасая, в полном сознании своего состояния, переписывался с пастором Навилем в Женеве и в то же время с одним старым итальянским аббатом, бывшим духовником его матери, о будущей жизни, читал каждый день Евангелие и молился по целым часам. «Он был чрезвычайно ласков и *покорен* тамам, но никогда ничего не говорил ей о себе, чтобы не испугать ее, – объясняла Лина, – только когда мы оставались с ним вдвоем, он не таился, и будто легче бывало ему оттого...» Князь Ларион договаривал себе то, чего не поняла или не хотела сказать ему Лина: «покоряясь», его бедный брат до последней минуты не мог победить того чувства, которое в продолжение всей его жизни удаляло его от этой женщины, связанной с ним невольными узами. Он томился ею до конца и в набожном настроении своем тем мучительнее тосковал и калялся в винах своих перед нею. В полубреду предсмертных часов он, уцепившись костеневшими пальцами за поledenевшую от ужаса руку Лины, говорил ей: «Мать... не огорчай... Искуп... искуп меня, грешного!..» Он не ведал, умирая, на что обрекал этим ее молодую жизнь!..

А князь Ларион был вскоре весь охвачен благоуханием этой расцветающей жизни. Чем-то невыразимо чистым, светлым, примиряющим веяло от нее на его наболевшую и возмущенную душу. Он уже не рассуждал, он отдавался этому обаянию... Идти об руку с племянницей к морскому берегу, куда-нибудь подалее от promenade des Anglais²⁰ и, усевшись на камне у самого прибоя, глядеть по целым часам на паруса, скользившие вдали по голубому простору средиземных волн, читать с нею по вечерам Уордсворда и Уланда⁵, а по утрам учиться вместе итальянскому языку у старого, смешного учителя, на длинных, дрябленьких ножках, который при каждом объяснении лукаво моргал глазами и таинственно спрашивал их: «Sentiano,

²⁰ Главное место гулянья в Ницце.

Esclenze?²¹, – такова была идиллия, которую переживал теперь, на склоне лет, этот поседевший в тревогах и разочарованиях деловой жизни человек. И то, что теперь заменяло, в силу чего забывал он все свое прежнее, недавнее былое, казалось ему то тихое, святое отцовское чувство, которого он, одинокий самолюбец, не знал всю жизнь и которое зато исполняло его теперь какою-то никогда им еще не испытанною, беспредельно захватившею его нежностью... Да, говорил он себе, он любил ее как родную дочь и не мог бы желать, не мог бы создать в воображении лучшей себе дочери: ничего, ничего *Аглаино*, а вся грация, изящество, тонкость воспринимания и вдумчивая сдержанность избранных натур... Как глубоко она чувствует и как гордо-стыдливо хоронит от чужого взгляда заветный клад чувств своих и мысли! «Счастливец тот, кому...»

Князь Ларион не договаривал и все чаще задумывался о ней... и о том «счастливце...» И что-то еще темное, но уже мучительное все сильней примешивалось к этим помыслам, вливалось какую-то тайную горечь в ту чашу чистого счастья, к которой в первые дни прикипал он неотступными устами...

А время бежало, траур по его брату приходил уже к концу; княгиня Аглая заговорила о «*devoirs de société*»⁶, о необходимых выездах, о России... На князя Лариона это произвело впечатление неожиданного и сокрушительного удара; в уносившем его течении он как бы никогда не думал о том, что эта блаженная, одинокая, почти вдвоем с Линой, жизнь его в Ницце должна была измениться не сегодня, так завтра; ему как бы в голову не приходило, что *ее* могут *отнять* у него... А теперь – завеса падала с его глаз, – а теперь *отдать* *ее* значило для него вырвать у себя сердце!..

В первую минуту он не поверил себе, он хотел верить в право свое на то, что жгучим огнем палило теперь его душу. Он спрашивал себя: не то ли же самое испытал бы князь Михайло на его месте, не тою ли же тревогой исполнился бы он, если бы его тесным, нежным, счастливым отношениям к дочери грозило чье-либо мертвящее вмешательство?.. Увы, внутренний голос отвечал ему, что отцовская нежность не ведала бы подобных опасений, что это чувство все дает и ничего не требует, что ему не грозно никакое соперничество, потому что соперников у этого чувства быть не может... А он, – он весь исполнен был тоски и страдания, и под устремленными на нее горячечно пылавшими его глазами Лина однажды, вся заалев и опустив веки, почти испуганно спросила его: «Что с вами, дядя, зачем смотрите вы на меня так?..»

Он ужаснулся, дрогнул... «Бежать, бежать скорее!» – было его первою мыслью...

– Нам, вероятно, скоро придется расстаться, – сказал он ей, перемогая себя и потухая взором, – твоя мать желает ехать в Россию, а мне... мне там нечего делать – я уеду в Рим...

Она с новым испугом подняла теперь голову:

– Дядя, что же мы без вас делать будем?..

Он понял: что ей было бы делать одной с матерью, которой она с таким смирением покорялась и с которой у нее было так мало общего?..

Князь Ларион ожил... Он «был нужен ей, он был необходимый *ингредиент* в ее жизни, он был для нее преемником всего того высшего, сочувственного, просветительного, что представлялось Лине в ее покойном отце, что связывало ее с ним духовными неразрывными узами и без чего ей жить нельзя...» Он жадно уцепился за эту мысль: да, он ей нужен и «*не имеет поэтому права ее оставить*»; он будет, он *должен* оберегать это нежное растение от грубых, невежественных прикосновений, будет ревниво охранять тот священный огонь, возженный братом его в душе дочери; он по праву единственный ее покровитель; он же один и в состоянии понять, чего стоит эта душа...» А ему – что ему нужно? Чего просит он от судьбы? Продолжить, по возможности, на несколько месяцев, на несколько недель, эту блаженную, одинокую жизнь под

²¹ Понимаете, ваши сиятельства?

итальянским небом, на берегах сияющего моря, где заслушивался он ее тихих речей об отце, о Боге, о дальней, холодной родине, которую едва помнила Лина и о которой не позволяла она никогда «говорить дурно» дяде, – и забывать весь мир, внимая этим речам, погружаясь украдкой в эти глаза, глубокие и лазурные, как глубь и лазурь того моря, того неба...

Он остался – и весь старый свой дипломатический опыт употребил он теперь в дело, чтобы отсрочить отъезд их из Италии, чтобы не дать разыгаться воскресавшим светским вождениям своей невестки. Он пугал ее русскими холодами, петербургскою сыростью, опасными для ее детей, взрослых под умеренным небом Германии; племяннице он говорил о тщете светской жизни, о бессмысленном тщеславии Петербурга; индифферент, он поощрял замеченную им в ней религиозную восторженность; он растравлял горечь и без того живучих сожалений ее о страстно любимом отце: на этой почве, он знал, у него не могло быть соперников...

Он достиг своей цели – еще год оттянул он у Аглаи Константиновны. Вместо России он увез ее с детьми в Рим... Как наслаждался он там сосредоточенными восторгами Лины пред чудесами Святого Петра и Ватикана! Как сама она своим чистым и задумчивым обликом подходила в его глазах к этому миру католического искусства, которое единственно было ей понятно и влекло ее в Рим!.. Но зато среди тех чудес ее красота была как бы еще заметнее – жадные молодые взоры чаще останавливались на ней, чем среди больного населения Ниццы... «Ее отымут от меня!» – все мучительнее отдавалось в сердце князя Лариона...

А светская жизнь уже забирала свои права. Княгиня Аглая завела много знакомств, между прочим с одною графиней Анисьевой, петербургскою дамой, жившею в Риме для своего здоровья. Князь Ларион очень не жаловал ее и чуял в ней «интриганку». Аглае Константиновне она, напротив, пришлась очень по вкусу – они беспрестанно видались и вечно о чем-то шушукались. Лину графиня не звала иначе, как «mon idole»⁷, и томно вздыхала, глядя на нее, в изъявление своего восхищения ею. Все это коробило князя Лариона... А княгиня в то же время все настоятельнее приставала к нему вернуться в Россию. «Ее дела... et puis Line va avoir dixhuit ans»⁸, – многозначительно намекала она, – и ее сын, Basile... «он должен получить une education russe...» Под «education russe»⁹ она разумела Пажеский корпус, а под «Россиею» Петербург – и ужасно поражена была, когда «Larion» наотрез объявил ей, что в Петербург он не поедет. Без него, она понимала, «ce n'est plus du tout la même chose там...»¹⁰ Много было по этому поводу у нее *интимных* совещаний с графиней Анисьевой, результатом которых было то, что она, тяжело при этом вздыхая, предложила князю ехать на зиму «s'établir à Moscou...»¹¹ Он мог бы еще на время отдалить, отсрочить, но сама она, Лина, всей душою рвалась в Россию...

Он согласился с сокрушенным сердцем...

Они приехали, стали *принимать*. Княжну повезли на первый бал к *графу*... О, как сказать, что почувствовал князь Ларион, когда в первый раз рукав гвардейского офицера обвил девственный стан Лины и сам он с казенною улыбкой под форменными усами помчал ее с собою по зале!.. Древний жрец с таким мучительным ужасом не глядел бы на поругание своего кумира!.. «Да, вот оно, *настоящее*, – вот *ma via dolorosa*», скорбный путь, по которому суждено было ему брести отныне до той минуты – вся внутренность переворачивалась у него, думая об этом, – когда ее, *Hélène*, совсем, совсем *отымут*... *вырвут* у него, кинут в объятия... предадут поцелуям молодого, заранее ненавистного ему «счастливица...» Что же с ним, с ним что тогда будет!.. Сердечных бурь не избежал в свое время князь Ларион – у него было несколько связей, две-три привязанности, которым он тогда готов был пожертвовать всем дорогим в жизни... Но теперь он спрашивал себя, как шекспировский Ромео: «Любило ль сердце мое до сих пор?»²²

²² Did my heart love till now? Act. I. Sc. III.

– и ничего в своем прошедшем не находил он подобного пламени и мукам этой последней, безумной, чуть не преступной страсти...

Догадывалась ли о ней Лина? Он боялся этого пуще грома небесного. Одно необдуманное слово, невольный взгляд могли замутить тот чистый мир родственных, доверчивых отношений, в котором единственно возможно было для него близкое общение с нею... И так уже, казалось ему иногда, она не прежним, ясным взглядом глядела ему в лицо, – говоря с ним, улыбалась еще сдержаннее, на его ласковые речи... Нет, он был обречен на одинокое, безмолвное, нескончаемое страдание...

И вот неожиданно извещают его о каких-то *предложениях*... зовут его опять к делу, к власти, от которой он ушел тому два года... Не спасение ли это? В *том* омуте забот, интриг и треволнений он может отдохнуть, забыться от этой теперешней, неустанно гложущей его муки; под тяжестью делового труда уляжется поневоле его эта бунтующая не по летам кровь; он найдет силу смириться перед неизбежным... Да, но как понимать этот призыв его обратно. Переменилось ли «течение», как он выражался, или думают *там*, что он, *получив урок*, подчинится теперь безусловно тому, что порицал он *тогда*? «В этом случае – нет, он не пойдет, – рассуждал с собою князь Ларион, – он верный слуга, а не раб немой; в саду хозяина он не станет косить там, где очевидно следует насаждать!..» Он невольно усмехнулся, вспомнив, что эти именно слова, сказанные им в одной гостиной в Петербурге, были главной причиной неудовольствия на него и, вследствие того, выхода его в отставку. «Каким был, таким он и умрет, – Шастуновы не податливы!.. За то Бирон и отсек им целым троим головы»¹², – еще раз усмехнулся он, вспомнив опять...

Но, так или иначе, ответа от него ждут – и надо дать его!..

Что же он напишет?

Он снова сел за свой письменный стол, перед портретом племянницы, и, опершись головой об руку, снова задумался крепкою и невеселою думою.

XXI

Общество после обеда перешло пить кофе на балкон, обращенный в сад. В Шипмоунт-касле леди Динмор всегда готовила кофе сама после обеда и готовила по-арабски – с гущею, как научил ее это делать муж, долго странствовавший по востоку. Поэтому и у княгини Аглаи Константиновны кофе не подавался готовый, а готовился при всех и разливался в великолепные севрские чашки с гербом Шастуновых на неизбежном голубом фоне, но только без гуши, в уважение все тех же «*estomacs russes*», не понимающих таких гастрономических квинтэссенций; готовить же его, вследствие прирожденной лени и неуклюжести своей, княгиня представляла «à cette bonne»¹ Надежда Федоровна, которая и вообще заведывала всем *маленьким хозяйством* дома.

Надежда Федоровна принялась за свое дело с особенным оживлением. Розы цвели у нее на душе: подле нее за обедом сидел Ашанин и, после нескольких успокоительных уверений, проливших сладостный елей в ее взволнованную грудь, все время затем, к довершению ее благополучия, нещадно глумился над бойкой барышней и сидевшими по бокам ее обожателями, сравнивал ее с московским гербом «на грудях двуглавого орла», с господином, сидящим на двух стульях, и тому подобным вздором. Смеялся он так искренно и просто, что задней мысли бедная влюбленная в него дева – а «кто любит, хочет верить», сказано давно, – предположить в нем была не в состоянии и простодушно рассудила, что она действительно, должно быть, ошиблась и что такая «пустая девчонка, как эта исправникова дочь», не может *серьезно* нравиться такому умному человеку, как «*ее Владимир*». А между тем *ее* Владимир руководился при этом двумя побуждениями: прежде всего, ввиду дальнейших соображений, надо было ему отдалить подозрения и усыпить ее ревность; во-вторых, он действительно злобствовал на барышню за

то, что она так возбuditельно глядела в глаза своим соседям, так весело сверкала своими блестящими зубами, так откровенно шевелила свои пышные плечи... А злобствовал он потому, что никогда еще так, как в эту минуту, не нравилась она ему, – а нравилась она ему так вследствие того, что у самого его были в эту минуту крылья связаны, и занималась она другими, а не им. Соперники и препятствия – это давало ей двойную цену в его глазах.

Он продолжал, усевшись за столом, за которым готовили кофе, потешать на ту же тему свою перезрелую жертву.

– Мне очень хочется спросить эту девицу, – заговорил он ей, – под каким венком желает она, чтоб ей воздвигло статую благодарное потомство: под лавровым или под оливковым?

– Она не поймет, что это значит? – с высоты своей начитанности улыбнулась Надежда Федоровна, раскладывая сахар в чашки.

– Я ей объясню: Ранцов, воин, – это лавр; Маус, судейский, – олива! И затем спрошу: что вы, сударыня, предпочитаете: оливковое масло или лавровый лист?

Та рассмеялась до того, что уронила щипцы на поднос...

– Подите, подите, спросите! – попавшись в ловушку, послала она его сама к своей сопернице.

Ашанину только того и нужно было.

Он медленно привстал, отыскал глазами Ольгу Елпидифоровну – она стояла, опершись о перила балкона, и болтала с Eulampe, *самую решительную из пулярок*, – подошел к ней и, уставившись ей прямо в глаза:

– Прошу вас сейчас же громко рассмеяться! – сказал он.

– Это что такое? – чуть не привскочила барышня.

– Смейтесь, – повторил он торжественно, – от смеха вашего зависит счастье мое и самая жизнь!

Она, а за нею Eulampe расхохотались не в шутку.

Он избока глянул на чайный стол: Надежда Федоровна доверчиво смеялась тоже этому доносившемуся до нее смеху.

– Жизнь мою вы спасли, – продолжал Ашанин; – теперь вопрос о счастье: *который* из двух?

И он кивнул с балкона вниз, где на ступеньках спускавшейся с него лестницы в числе других молодых людей дымили папиросками на благородном расстоянии друг от друга Ранцов – *лавр* и Маус – *олива*.

Она тотчас же поняла:

– Евлаша, душечка, – обернулась она к ней, – мне холодно в кисейном; сбегай, ангел мой, в столовую: там бурнус мой лежит, ты знаешь...

Пулярка слегка поморщилась – Ашанин казался ей очень «интересен», – однако побежала за бурнусом, неуклюже перебирая ступнями, и с *развальцем* на ходу...

– К чему ваш вопрос? – спросила тогда Ольга Елпидифоровна.

– К тому, – молвил Дон-Жуан, сопровождая слова свои комическим жестом, – чтобы убить того, *который*...

– Что за вздор! – засмеялась она. – Я вам в тот раз еще говорила: ведь вы на мне не женитесь?

– Не смею... Страшно! – засмеялся он.

– И не нужно! – промолвила она с невольной вспышкой досады.

– Верно! – подтвердил он.

– Что-о?

– И я говорю: *не нужно!* – подчеркнул Ашанин. Она опять рассмеялась:

– Вы с ума сошли!..

– Совершенно так изволили сказать!

И он принялся вполголоса петь из какого-то водевиля, подражая обрывистой манере и хриплому голосу бывшего тогда на московской сцене на ролях комических любовников актера Востокова:

Э-ти глаз-ки, как хо-ти-те,
Хоть ко-го с у-ма све-дут!..

– Знаете что, – сказала она, помолчав, – я такого, как вы, еще и не встречала!

– И я такой, как вы, не встречал! – вздохнул Ашанин. – Шутовство в сторону, – он не мог смотреть на нее равнодушно.

– Чего же вы от меня хотите? – спросила Ольга, закусывая алую губу.

– Это я вам предоставляю угадать!..

Она повела глазами в сторону Надежды Федоровны:

– А там же что?..

– Там – неволя; здесь – магометов рай! – ответил он, не смущаясь.

– Какая неволя?

– Она все, что делается в доме, передает княгине, – бессовестно сочинил Ашанин, – я ее боюсь и потому задобрываю и вам то же советую делать...

– Вы все лжете, я вижу! – молвила со смехом быстроглазая девица.

– Кроме того, что вы внушаете мне!..

Eulampe запыхавшись бежала к ним с бурнусом.

– А теперь довольно! – сказала Ашанину Ольга.

– Когда это вы мне скажете: *еще*? – отвечал он ей на это долгим, говорящим взглядом и отправился назад к Надежде Федоровне.

– Ну что, сказали? – спросила та, передавая ему чашку кофе.

– Сказал.

– Что же она?

– А она говорит: «Это, верно, не вы сочинили, – а эта злющая Травкина?»

– Как глупа! – И она презрительно повела плечами.

– И я то же заметил! – подтвердил Ашанин, преспокойно пошевеливая ложечкой в своем кофе. – С нею прескучно!..

Только после того как он отошел от нее, сообразила ясно быстроглазая Ольга прямой смысл тех речей, которые он держал ей, и когда вернувшаяся Eulampe с жадным любопытством в глазах спросила ее:

– Скажи, душка, что он говорил тебе?

– Он дерзкий! – отвечала она и покраснела.

– Все мужчины – дерзкие! – заметила на это опытная, как видно, *пулярка*.

Они обе громко рассмеялись...

Посреди гостиной, выходящей на балкон тремя большими настежь открытыми дверями, ставили ломберный стол. Княгиня, со времени приезда своего в Россию пристрастившаяся к преферансу, собиралась играть. Софья Ивановна, которой она предложила карту, отказалась было, говоря, что она до ночи хочет вернуться домой, но потом уступила. Княжна ее окончательно очаровывала и, словно сознавая это, не отходила от нее. Когда она села за партию с хозяйкой, московской княжной и неизбежным «бригантом», Лина уместилась подле нее и, глядя ей в карты, очень смешила ее, давая ей советы вкривь и вкось.

Через несколько минут она поднялась с места... Софья Ивановна бессознательно подняла глаза по направлению открытых против нее дверей и отгадала скорей, чем различила, унылую фигуру проходившего мимо племянника. Княжна его также увидела, Софья Ивановна не сомневалась...

– Господи, что из всего этого выйдет! – с новым взрывом тревоги промолвила она мысленно, беспощадно покрывая тузом короля, вистовавшего вместе с нею против княгини Зяблина... Тот только очи к небу воздел.

Княжна прошла на балкон.

Там былолюдно и шумно. Курившая молодежь вернулась из сада. Сидели кружками... Слышался звонкий голос анекдотиста Чижевского и провинциальные взвизги потешаемых им барышень. В углу Факирский и Духонин продолжали горячо препираться об искусстве и о Жорж Санд. Исправник тихо совещался со Свищовым; оба они были записные игроки, и оба в эту минуту без гроша: речь между ними шла о том, как бы им отыграться у Волжинского, постоянно обиравшего их в пух и которого оба они знали за отъявленного шулера... Гунду-ров один сидел ото всех поодаль и, обернувшись к саду, рассеянно глядел на видневшуюся с балкона реку, по которой, крадучись из-под тучи, бежал золотой полосой сверкавший луч солнца... Он был угрюм до злости и до сих пор не мог справиться с тем подавляющим впечатлением, какое произвели на него слова Ашанина в объяснение речей князя Лариона. И чувство его, и самолюбие были задеты за живое. «Он разгорячился, наговорил вздору приятелю, открывшему ему глаза. Чем же тот виноват, что он ребенок до сих пор, что сам он не понял, дал повод прочесть ему это *наставление*, не понял, что... Да разве я подавал в самом деле повод? – вскипало у него снова на душе, требовал ли чего-нибудь, просил, надеялся? Разве и *смотреть* уж на *нее* нельзя?.. Ведь вот это вечное солнце, оно светит и мне, и вот этой чайке, что взвилась сейчас там, над рекою, и последнему червяку в луже... И, наконец, если бы я даже... Скорее уехать из этих мест, сказывалось у него внезапными взрывами, и приезжать совсем не нужно было! Я не хотел, все Ашанин... Привез, а теперь сам... Кину я все это, скажу, что нездоров, Бог с ним и с *Гамлетом*! Видно не судьба!.. И нужно было тетушке сесть за карты – так бы сейчас и уехали в Сашино!»...

Лина прошла прямо к нему:

– Сергей Михайлович!

Он вздрогнул от неосторожного звука этого голоса, обернулся, поднялся с места!..

Она села... Он с тревогой в сердце опустилсяснова на стул.

– Вы не здоровы! – заговорила она, участливо глядя ему в лицо.

– Я?.. Нет... Я здоров... совершенно здоров...

– Что с вами, Сергей Михайлович, скажите! – настойчиво начала она опять, продолжая смотреть ему в лицо.

– Ничего, княжна, уверяю вас, я не знаю...

– Вы на репетиции... совсем другой были! Потом вы ушли с дядей, да?

– Точно так.

– К нему наверх?

– К нему.

– И что же вы делали у него?

– Мы условливались насчет урезок...

– Да, я знаю... И больше ничего? – спросила Лина.

– Нет, мы еще... беседовали, – через силу проговорил Гунду-ров, у которого при этом воспоминании вся кровь кинулась в голову.

Она примолкла.

– И вы *такой* сделали-сь после этой... *беседы*! – начала она после довольно долгого молчания.

Он не находил ответа...

– Он очень добрый, дядя Ларион, – заговорила опять княжна, – только слова его могут иногда показаться...

– Нет, напротив, я ему должен быть очень благодарен за совет, – примолвил с невольною ироническою улыбкою Гундуков.

– Какой совет? – Она с необычною ей живостью подняла на него вопрошающие глаза.

– Он обещал выхлопотать мне паспорт за границу на будущий год, а для этого советовал мне теперь ехать путешествовать по России.

– По России, – медленно повторила Лина, – скоро?..

– Он говорил: «не медля».

– И вы поедете? – еще тише спросила она.

– Да, – отвечал Гундуков твердым голосом и избегая в то же время ее глаз, – поеду!

– А наш «Гамлет»? – промолвила она с каким-то особым ударением.

– После... – Он не договорил.

Она опять замолкла и опустила голову.

– Что же, – подняла она ее опять и тихо улыбнулась, – по крайней мере «Гамлета» *отыграем!*..

– Это миг один! – вырвалось у молодого человека.

– Все в жизни – миг... И сама она – миг один! – зазвенел какою-то еще неслышанною им нотою голос Лины.

Он недоумело поглядел на нее:

– Да, но тогда жить не стоит?..

– Следует! – тоном глубокого убеждения молвила она. – *Нести* надо!..

– Бороться надо! – сказалось у него как-то невольно опять.

– Да, и бороться! – раздумчиво закивала она золотистою головкой... И вдруг переменила разговор:

– Это должно быть очень интересно – путешествие по России... Как бы я была рада, если б сама могла...

– Да, – сквозь зубы промолвил Гундуков, – в этнографическом отношении интересно...

Она не поняла, что он хотел сказать:

– Мне кажется... кто только любит свое... отечество...

Глаза Гундукова заморгали:

– Именно тот... В других странах любовь к родине – гордость; у нас она – мука, княжна! – досказал он свою мысль.

Она, в свою очередь, удивленно остановила на нем взгляд, пораженная горечью его тона.

Он понял, что она требовала объяснения.

– ²Куда бы вы ни направили путь, – заговорил он с возрастающим оживлением, – все то же зрелище представит вам русская земля. От моря до моря, от Немана и до Урала, все тот же позор рабства и тягота неволи!..

Голос его теперь был почти груб, но он глубоко проникал в душу девушки; в нем звучали теперь, она чувствовала, лучшие струны этой молодой мужской души, и на них откликалось все лучшее в ее существе...

– Ах, как часто, – почти вскрикнула она, – как часто с тех пор, как я живу в России, приходили мне эти мысли в голову!.. И скажите, неужели вот только вы... и я – краска на миг вспыхнула в ее лице: в другую минуту она не прибавила бы этого «я», – думаем об этом?.. Мне никогда не случалось слышать ни от кого... будто это совсем не нужно... Я раз говорила об этом с дядей, он мне ответил что-то, что, я помню, меня не удовлетворило... Он как-то говорил, что «разом нельзя; что надо готовить ис... исподволь», – произнесла с некоторым усилием Лина необычное ей слово.

– Железная рука Петра, – сказал на это Гундуков, – оторвала нас от народа. Мы, высшее, так называемое образованное, сословие, мы давно перестали быть русскими!.. Мы давно стали

немы на его вековой стон, глухи к его вековым страданиям... Мы сыты от голода его... Что же вас удивляет это общее кругом вас равнодушие к нему, княжна?..

– Но ведь тогда он сам, – сказала она, – сам может потребовать наконец...

– Как на Западе? – возразил молодой славист. – Нет. – Он закачал головою. – Нет народа в мире, который был бы так чуток к своему историческому предопределению. В нем лежит инстинкт своего великого будущего. Он верит в него, верит в исконную связь свою со своим законным, *земским* Царем, – подчеркнул Гундуrow, – и ждет... Он перетерпел удельную усобицу, татарскую неволю, перетерпел петровский разгром. Он перетерпит со своим святым смирением и нынешнее неразумие, нынешнюю постыдную близорукость...

– Вот видите, *смирение!* – произнесла неожиданно княжна. – Покойный папа всегда говорил: «смирение – сила...»

Она как бы уличила его в противоречии его личного, бунтующего при первой неудаче, чувства с этим вековым «святым смирением» народа... Гундуrow так понял это, по крайней мере, и несколько смутился.

– Да, – сказал он, не совсем справясь с собою, – а между тем эта бедная... великая и бедная родина наша, – повторил он, – вся она изнемогла под гнетом крепостного права, вся она кругом изъязвлена неправдою, насилием... до мозга костей ее уже проникла и пожирает ее эта проказа рабства²... А годы летят, крылья связаны, и знаешь, ничем, ничем не в силах послужить ей, ничем, даже в виду отдаленного, лучшего будущего. Ведь вот что ужасно, чего нет иногда сил вынести, княжна!..

– Знаете, – Лина тихо улыбнулась, – я верю в предчувствия; мне что-то говорит, что не всегда будут у вас... у всех... крылья связаны, как вы говорите. Вы так молоды, вы еще можете увидеть это «лучшее время»...

Оковы рухнут, и свобода

Вас встретит радостно у входа³,

– пронеслась в памяти Гундуrowа запрещенная пушкинская строфа...

– О, если бы вашими устами да мед пить, Елена Михайловна? – воскликнул он с мимолетной улыбкой. – Вот дядюшка ваш, он *государственный* все-таки человек, говорит также, что это «течение должно измениться...» О, если бы суждено мне было когда-нибудь послужить освобождению моего народа!.. Но когда, когда вздумается этому «течению измениться»? Князь Ларион Васильевич сегодня показался мне удивленным, когда я сказал ему, что я не честолобив. Но, скажите сами, какое же честолобие достойно честного человека, – я говорю о людях моего поколения и понятий, – когда оно должно идти вразрез с тем, что дороже, что *должно быть* дороже ему всего на свете?.. У меня было свое, скромное дело, но все же, хотя побочным, не близким путем, оно могло служить... Я надеялся, многое могло быть разъяснено, дойти, перейти в общее сознание... И то вырвали из рук!.. Поневоле теперь, – закончил он, тяжело вздохнув, – приходится стиснуть зубы и искать забвения в *Гамлете!*

– Бедный *Гамлет!* – робким как бы упреком послышалось ему в голосе Лины...

У Гундуrowа ёкнуло в груди...

Но княжна как будто не хотела дать ему случая к ответу. Она заговорила о своей роли *Офелии*. Роль эта ей очень нравилась.

– Во всем Шекспире, кажется, нет более поэтического женского характера... Да, *Корделия!* – вспомнила она.

– А *Джюльета?* – сказал Гундуrow.

– Нет, – она покачала головой, – они там оба с *ним* такие... – она искала слова и не нашла его, – такие *безумные!* – и она засмеялась. – Можно ли представить себе *их* стариками? Оттого Шекспир, может быть, и заставляет их умереть так рано...

– Отчего же, – возразил он, – и у стариков может так же горячо биться кровь...

Она вдруг задумалась.

– Да, это правда!.. Только все же мне больше нравится *Офелия*... Какой поэт этот Шекспир! Как умирает она у него чудесно! – молвила она, устремив безотчетно глаза вперед, в тот угол, где препирались Духонин, Факирский и подсевший к ним Свищов.

А из того угла, не прерывая разговора, жадными глазами следил за каждым ее движением студент:

– Читали вы ее последний роман? – спрашивал он у Духонина.

– Какой?

– «*Le compagnon du tour de France*»⁴, – проговорил он заглавие коверканным французским произношением.

– Нет, не читал. Он, кажется, запрещен?

– У нас, известно, все хорошие вещи запрещают! Я его все-таки имею!..

– Здесь?

– Да. Желаете прочесть?

– Одолжите, если можно.

– С моим удовольствием... Эта вещь тем замечательна, – пояснил Факирский, – что кроме обычных качеств этого великого передового таланта, на значение которого так горячо указывал незабвенный Виссарион Белинский...

– Ну! – скорчил гримасу Духонин.

– Что-с? Вы не уважаете Белинского? – воскликнул студент.

– Уважаю ль? – повторил тот. – Ничего, человек был хороший... горячий... Только, в сущности, одно то у него и было – горячность!.. Остальное ведь все с чужого голоса: Станкевич раз, Боткин два, Герцен три!.. Кто последнее сказал, с трубы того и трубил⁵! Вспомните, что он писал в «Молве»⁶ и до чего договорился в Петербурге?

– Учи-тель-с! – внушительно протянул на это Факирский. – Ведь только и есть у нас, что он да *Тимофей Николаевич*²³, и тому теперь рот зажали... Так вот-с я начал говорить про *компаньен дю тур де-Франс*. Тем-с эта вещь замечательна, что показывает нам, как далеко успело уйти образованное французское общество на пути новых социальных идей.

– Рассказывайте! – скорчил опять гримасу неугомонный Духонин, поправляя очки на носу. – Но я по этому поводу не желаю спорить... Вы начали о романе. Итак...

– Итак, – подхватил на лету студент, метнув новым взглядом по направлению княжны, – два такие *компаньона*, то есть странствующие ремесленники, *Пьер* и приятель его, приглашаются работать, – они мастерством столяры, – в замок одного богатейшего старого графа... У этого старого, вдового графа – внушка, *Изельта*, – произнес по-своему факирский французское имя *Изё* (кейк), – и эта девушка, героиня романа, влюбляется в Пьера.

– Как! – воскликнул Свищов. – Так-таки графиня в простого рабочего, столяра?

– Да-с, именно, и что же вы находите в этом удивительного? – закипятился вдруг пылкий поклонник Жорж Санд, – этот столяр, это французский *увриер*⁷, человек, может быть, сто раз образованнее какого-нибудь нашего губернатора!..

– Ну уж как вам угодно, а только он непременно должен был клеем вонять, ваш *увриер*, – расхохотался во всю мочь Свищов.

Студент рассердился не на шутку:

– С вами говорить нельзя-с! Вы все прекрасное и высокое готовы из легкомыслия закидать грязью... Так нельзя-с... нельзя так-с!.. – едва мог он выговорить от волнения.

Свищов принялся унимать его:

²³ Грановский.

– Ну, полно, душечка, полно, ну, пошутил... А вы плюньте. Плюньте и продолжайте! Факирский передохнул и еще не успокоенным голосом:

– Изельта, – заговорил он снова, – выражает собою тот идеал, до которого додумываются теперь благороднейшие умы Запада. Богатая, она презирует свое богатство; аристократка, она хочет равенства, да-с!.. Девственная, она первая решается сказать Пьеру, что она его любит и хочет за него идти замуж, потому что он «из народа», и «я, говорит она ему, хочу быть народом», – понимаете-с?

– А столяр, – поддразнил его Духонин, – соглашается жениться на ней и, в свою очередь, из «народа» делается *графом*?

– Вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь! Тут-то и сказывается вся сила Жорж Санд и вся мощь изображаемых ею характеров! Пьер любит *Изельту* страстно, бесконечно, всею душой и всею мыслью своей, но он отказывается от нее. «Пока мне неведомо, – говорит он, – действительно ли богатство – право, а бедность – долг, я хочу оставаться бедным»... И он жертвует всем, любовью своею, счастьем, – слезы слышались почти в голосе студента, – во имя своей бедности, своей *святой* бедности!

– Удивительное дело-с, – беспощадно возразил на это Духонин, – как эти все герои «из народа», алчущие «равенства», не ищут себе героинь между своей сестрой – швеями и корсетницами, а все облюбливают графинь каких-то да маркиз!..

– Что же-с, – запнулся Факирский, – это несомненно, что пока... аристократическое, так сказать, воспитание дает это... эту прелесть внешней формы... манеры, – и глаза его невольно опять устремились на княжну, – а это не может не ценить всякий... всякий эстетически развитый человек...

Свищов подмигнул Духонину, как бы приглашая его ко вниманию.

– «Несомненно» во всяком случае то, – сказал он, – что очень было бы приятно быть – как бишь вы называете столяра вашего? – глянул он в глаза Факирскому, – да, *Пьер*, – очень было бы приятно быть *Пьером* княжны здешней, например, – как вы полагаете?..

Бедный юноша не выдержал: он сорвался с места, словно готовясь кинуться на зубоскала, но сдержался и, красный как рак:

– Я с вами говорить не хочу-с! – вскрикнул он и побежал вон с балкона.

– Эко молодо-зелено! – расхохотался ему вслед Свищов.

– И охота же вам! – недовольным тоном промолвил Духонин.

– Ничего-с, осторожнее будет! Ведь туда же, о княжнах мечтает!.. Довольно с нее и этого педанта! – кивнул он в сторону Гундунова. – Эх, вот до кого бы добраться! – неожиданно вырвалось у него...

Духонин с удивлением глянул на него из-под очков.

– А что он вам сделал? – спросил он.

– Ничего, – нагло оскалил зубы тот, – а учинять пакость ближнему никогда не мешает.

– Гм! – промычал Духонин, встал и пошел к кружку ликовавших от анекдотов Чижевского *пулярок*.

– Ну и убирайся! – проговорил себе под нос Свищов, продолжая наблюдать из своего угла за Гундуновым и княжной и становясь все злее, по мере того как все очевиднее делалось ему, что она находит удовольствие в беседе с нашим героем.

Свищов его ненавидел. За что? Между ними не было ничего общего: нечего им было делить, не о чем соперничать. Но Свищов принадлежал к числу тех безалаберных Яго, которых так много на Руси: он ненавидел людей «здорово *живешь*», за то, что есть у этих людей и чего ему самому вовсе не нужно было, а, следовательно, чему, казалось бы, он не имел никакой причины завидовать. Сам он, например, смахивал наружностью на короткошейного, грудастого испанского быка и очень гордился этим выражением силы в своей наружности; но Гундунов был тонок, строен и несколько щеделушен с виду, и Свищов его ненавидел за это. Гундунов

готовился на кафедру, а Свищов, кроме карт и московского балета, ни о чем знать не хотел и за это ненавидел Гундунова... В настоящую минуту он несказанно злился на него за то, что вот он беседует с княжной Шастуновой и она слушает его с видимым вниманием, а ему, Свищову, никогда в голову не приходило вступить с нею в беседу, и в Сицкое-то он приехал, привезенный Акулиным, в качестве любителя-актера, единственно потому, что был в эту минуту без гроша и не на что было ему вернуться в Москву...

Он отправился изливать свою желчь пред приятелем своим Елпидифором.

– Поглядите-ка, батенька, – начал было Свищов, как в эту минуту подошла к отцу бойкая барышня:

- Можете получить! – коротко сказала она ему.
- Что? – не понял сразу отяжелевший после обеда исправник.
- Ступайте к капитану!..
- Дает? – он радостно вскочил со стула.
- Еще бы смел не дать! – отвечали приподнявшиеся плечи Ольги.
- Ах, ты моя разумница!.. Сейчас?..
- Идите, говорю вам...

Он поспешно заковылял на своих коротеньких ножках. Она за ним...

- Ольга Елпидифоровна! – остановил ее Свищов.
- Чего вам? – спросила она его через плечо: она его терпеть не могла.
- Спектакль сей изволили видеть? – и он осторожно повел глазами по адресу княжны

и Гундунова.

- Какой же тут спектакль?
- Воркуют-то как! – хихикнул он.
- А вам до этого что?

– А мне ничего; как другим, а мне даже приятно, – нагло посмеивался Свищов, – даже поучительно: вот оно, значит, иностранное воспитание...

– А у вас язык слишком длинен, – отрезала ему на это Ольга, – Лина – мой друг, и вы не смейте!.. А то я расскажу княгине, что вы ее дочь браните, и вас попросят отсюда вон... Можете к вашему Волжинскому отправляться!..

Она повернула ему спину и ушла.

– А черт бы их побрал всех! – решил после такой неудачи Свищов. – Хоть бы с кем-нибудь по маленькой в пикет сразиться...

Но замечание его не прошло мимо ушей смысленной особы. Она пристально, на ходу, воззрилась на забывавшего весь мир в эту минуту Гундунова, на «друга своего Лину», и довольная улыбка пробежала по ее губам:

– Вот оно, чем тебя допечь, противный старикашка! – послала она мысленно по адресу князя Лариона.

XXII

А голос самого князя послышался в это время в дверях гостиной.

– Господин Акулин? Елпидифор Павлыч?

– Здесь! – отвечал исправник, торопливо засовывая под мундир деньги, только что полученные им от «капिताшки».

Князь Ларион отдал ему написанное им к *графу* письмо. Исправник тотчас же собрался ехать и, откланявшись княгине, вышел из гостиной.

Свищов побежал за ним.

– Что, батенька, не заедем ли по пути? – подмигнул он ему, разумея усадьбу Волжинского, в которой с утра до вечера велась игра.

– Что вы, что вы, – толстый Елпидифор отмахнулся от него обеими руками; – и вас с собою не возьму... от соблазна подальше! Тысячу делов, *граф*, *Полония* учить надо, а он с чем подъехал!.. Сидите, сударик, здесь, да рольку проглядите, а я завтра сюда на репетиции... Ранее полудня, полагаю, не начнется...

И он поспешно спустился с лестницы.

– Вот поди-на! – подумал Свищов, – *ханука* ведь завзятый, а тоже себя артистом мнит... И артист, действительно, черт его возьми! – злобно хихикнул он в заключение.

За отъездом Акулина продолжение репетиции «Гамлета», предполагавшееся в тот же вечер, отложено было на завтра. Кроме Вальковского, который, услышав о таком решении, воспылал негодованием и ушел со злости пить чай в пустой театр, захватив с собою туда приятеля своего, режиссера, никто из молодежи на это не роптал...

– Не поехать ли нам кататься? – предложила Лина, прерывая беседу свою с Гундуровым и подымаясь с места.

– Поедем, поедем! – вскинулись разом все.

– Дождь сейчас пойдет! – сказал кто-то.

– Что вы, откуда? – запищали *пулярки*.

– Откуда он всегда идет, сверху! – загаерничал Шигарев, принимаясь подражать языком звуку барабанивших уже по ступенькам лестницы дождевых капель...

Через минуту крупный весенний дождь полил, как из ведра.

– Ай, ай, ай! – С визгом и хохотом побежало молодое общество с балкона в гостиную.

– Мон управляющий ¹-*sera très content*, – объявила своим партнерам княгиня Аглая Константиновна, – он говорит, что дождь *c'est excellent pour les посевы*.

– Et pour¹ Гисправник, которого теперь мочит до костей, – подшутил «бригант», которому ужасно везло в преферанс.

– Вы такой злой всегда, такой злой! – так же шутливо погрозила она ему толстым своим пальцем.

Он нежно покосился на нее.

– Я очень рад этому случаю заполнить вас, молодая особа, – весело молвил, подходя к бойкой барышне, князь Ларион, – вы против соловья имеете то преимущество, что можете петь и в ненастье. А мы вот уже третий день, как не слышали вас...

– Ah, oui Olga, faites nous de la musique²! – крикнула ей, в свою очередь, княгиня.

– Слушаю-с, – барышня присела перед ней танцмейстерским приседанием и, обернувшись к князю:

– И петь все то же опять? – спросила она, лукаво глядя на него.

– Непременно! – засмеялся он.

– «Я помню чудное мгновенье»?

– Само собою.

– Вы это очень любите, ваше сиятельство?

– Чрезвычайно!

– И что именно: музыку или слова?

– И то и другое. Я нахожу, что мысль поэта передается здесь музыкою в таком совершенстве, что иной и нельзя написать на это стихотворение...

– А сами вы?..

– Что «сам»?

– Сами вы при этом не вспоминаете какого-нибудь «чудного мгновенья»?

Он засмеялся опять:

– Несомненно вспоминаю: – то, когда вы мне это в первый раз пропели.

– Ни, ни, ни! – она медленно закачала головой. – Меня провести нелегко! Что вы *вспоминаете*, это я знаю; что вспоминать вам сладко, оттого вы так часто заставляете меня это петь... Но что не я, а кто-то другой тот «гений *чистой* красоты», о котором вы вспоминаете, – подчеркнула Ольга, – я тоже знаю...

Она подняла на него глаза – и обомлела... Он был бледен, как холст; судорога кривила его губы...

– Про кого вы это говорите? – еле слышным голосом промолвил он.

Бойкая барышня страшно перепугалась: слова отца про глиняный горшок пришли ей на память; она полезла в бой, не справившись со своими силами, и только теперь поняла, каким разгромом могло это кончиться для таких горшка и горшечка, каковы были отец ее и сама она сравнительно с людьми, как Шастуновы...

Но она была находчива:

– Сказать? – она смело взглянула на него еще раз.

– Говорите! – пропустил он сквозь стиснутые зубы.

– Далеко отсюда это воспоминание, – молвила она, сопровождая эти слова соответствующим движением руки, – к *Сампсону*, в Петергоф³ надо бежать...

– В Петергоф? – повторил он недоумело, впился в нее глазами... вспомнил и вздохнул, – вздохнул всей грудью, как вздыхает человек, которого только что миновала смертельная опасность...

– Отгадала? – спрашивала его между тем смышленная особа.

– Вы что об этом можете знать? – сказал он, хмуря брови.

– Мало ль что я знаю! – уже свободно расхохоталась она.

– Это я вижу, – с язвительною усмешкою вымолвил ей на это князь Ларион, – и, к сожалению, не могу вас никак с этим поздравить!..

Он нагнулся в знак поклона и отошел от нее.

Она несколько растерянно глянула ему вслед: «глупость» ее совсем не так удачно сходила ей с рук, как она вообразила себе это в первую минуту.

– Eh bien, Olga⁴? – раздался снова голос княгини.

Она побежала к фортепиано, на котором с приезда ее в Сицкое лежала папка с ее нотами.

– А Надежда Федоровна где же? – спросила она, обведя кругом глазами, – я не могу сама себе аккомпанировать...

– Если позволите, – вызвался, подбегая, Чижевский, – я музицирую довольно порядочно...

Он сел за фортепиано. Она запела: «Я помню чудное мгновенье».

Пела она действительно так, что, как говорил про глаза ее Ашанин, «мертвого могла бы воскресить». Неутихшее еще в ней волнение сказывалось в ее слегка дрожавшем, но никогда еще, может быть, такую пронизательною силою не звучавшем, густом и *ярком* контральтовом голосе. Он, казалось, звенел в молодой шири своей изо всех концов пространной гостиной, лился неотразимым обаянием в ухо каждого из слушателей... Пела она *по-своему*, как поют иные чисто русские певицы, как пела знаменитая в то время исполнительница Глинки и Даргомыжского Марья Васильевна Ш-ая⁵, с тою сладко-томительною, неотступною, насквозь прожигающею страстностью, тем особым, капризным, полуцыганским пошибом, что прямо хватает и бьет по всем живым струнам русской души...

И сердце бьется в упоеньи,
И для него настали вновь
И божество-о... и вдохно-венье,
И жизнь, и слезы, и-и любовь!..

Все примолкло, все слушало... У аккомпанировавшего ей Чижевского дрожали от волнения руки. Ашанина – когда-то женившегося из-за варламовского романа – была лихорадка...

Он первый кинулся к ней, когда она кончила:

– Что хотите, то и делайте со мною! – бормотал он, сам себя не помня... Никогда еще так всевластно не говорили в нем восторг и желание!..

Но ее уже обступали все... *Образованная окрестная* душила ее в своих жирных объятиях. Чижевский без слов жал ее руки...

– Charmant, charmant⁶! – словно ход фагота в визге маленьких флейт слышался поощрительный голос княгини Аглаи в хоре возгласов восхищенных *пулярок*.

– Виардо нумер второй⁷! – подбежал к ней Маус с фразой, которую неукоснительно повторял он ей каждый раз, когда она при нем пела.

– Не знаю-с, не слышал, – отрезал ему на это тут же очутившийся храбрый капитан Ранцов, у которого от пробиравшего его чувства все усы, как у кота, взъерошены были кверху, – а только что он лучше Ольги Елпидифоровны петь не в состоянии, я за это готов прозакладать мою честь!..

– Она, а не «он» – Виардо! – презрительно отпустил ему правовед.

– Все равно, «она»-с, или он-с, а только что не может спеть лучше-с! – и капитан поглядел на Мауса так, что «вот, мол, я тебя, чухонца, сейчас и с косточками проглочу!...»

«Олива», как и следует, стушеввалась пред «лавром».

Маус только плечами пожал и величественно ушел в глубину своих нескончаемых воротничков.

– А вы, капитан, не бурлите! – И барышня повела на него строгим взглядом. – Что это вы в своих казармах выучились так неприлично выражать свои восторги?

– И не жила в них никогда-с, мы все по деревням квартировали, – сконфуженно и покорно объяснял влюбленный воин, – только уж позвольте мне, Ольга Елпидифоровна, всею душою и сердцем верить, что так, как вы, никто не споет-с, никто!

Но она не слушала его и, прищурившись, отыскивала глазами князя Лариона.

Он сидел поодаль от всех, на угловом диване, и рассеянно играл большою кистью подушки, положенной им себе под бок... «Магнетизм воли» ее не действовал: он не подымал головы...

Досада и тревога опять завладели Ольгой. Она повела взглядом кругом...

Ашанин, опершись локтем о фортепиано, не сводил с нее глаз...

Она шагнула к нему:

– Мне нужно будет вам сказать два слова!

– Разве вы еще не будете петь? – воскликнул, словно обиженный, Маус.

– Потом... потом... А теперь надо Лину попросить... – Княжна опять сидела подле Софьи Ивановны и глядела ей в карты. С приходом князя Лариона Гундунов все мучился желанием подойти к ней и все не решался...

– Лина, милая, за вами теперь очередь... все просят! – говорила, подбежав к ней, Ольга.

– Oui, ma chère, chantez nous quelque chose⁸! – предписала и княгиня.

Чижевский предложил опять свои услуги...

Она запела очень известный, тогда еще новый романс Гордиджиани: «O Santissima Vergine Maria!»⁹ Тихою, несложною модуляцией словно журчит сквозь слезы молитва бедной поселянки к Пречистой Деве Марии. Она просит о своем *Дженнаро*, об исцелении ее «*poverino*»¹⁰, ее опасно заболевшего Дженнаро: «Исцели его, Пресвятая, – и за то, обещает она, я отдам тебе ту ленту, что мне подарила мама, – и каждую субботу перед Твоим Пречистым Ликом будет гореть зажженная мною свеча...»

Точно откуда-то сверху, из воздушных пространств, неся нежный и трогательный, как у ребенка, чистый, как звон стекла, голос Лины. Он не возбуждал восторгов, не вызывал невольных рукоплесканий... Но князь Ларион, откинувшись головой в спину своего дивана, едва переводил дыхание... Слезы туманили глаза Софьи Ивановны. Гундуров кусал себе губы до боли...

– Да, молитва, чистое... *неземное*... Это все *ее*!.. Другого она не понимает – и не поймет... – говорил он себе с каким-то смешанным чувством благоговения и печали, – нет, я не встречал, да и есть ли еще на свете подобное создание?... Она совсем особенная, непонятная... недостижимая.

А Лина, допев свой романс и ласково проговорив «спасибо» Чижевскому, поспешно отошла от фортепиано.

– Княжна, больше и не будет? – сказал ей с улыбкою Гундуров, мимо которого она проходила.

– Ах, нет, пожалуйста!.. – она слегка покраснела.

– А вы не любите петь?

– При других – нет, не люблю... Для чего?..

– Для того... – начал было он – и приостановился... – Знаете ли, княжна, о чем я думал, слушая ваше пение? – заговорил он опять с какою-то самого его удивившею смелостью.

– Что я плохо пою? – усмехнулась она в ответ.

– Нет, и вы сами знаете, что я *этого* не мог думать... Я думал после нашего разговора... Мне представлялось, что вас влечет как будто к себе одно печальное в жизни, а все ее радости, ее светлую сторону вы как бы намеренно желаете обойти...

– Я... обойти? – повторила она и тихо опустилась в кресло подле него, – нет, я не святая... Но где они, эти радости? – задумчиво примолвила Лина.

– В осьмнадцать лет, и вы спрашиваете? – воскликнул Гундуров... – Вы, впрочем, *Джюльетты* не понимаете! – заметил он с несколько натянутой улыбкою.

– Не понимаю? – Она подняла и остановила на нем свои никогда не улыбавшиеся глаза. – Я вам этого не говорила...

Фортепиано зазвучало снова. Послышалась ритурнель известного романса Глинки на слова Павлова¹¹:

Она безгрешных сновидений
Тебе на ложе не пошлет
И для небес, как добрый гений,
Твоей души не сбережет, —

пела Ольга своим страстным, забористым голосом:

С ней мир иной, но мир чудесный!
С ней гибнет вера в лучший край...
Не называй ее небесной,
И от земли не отрывай!..

Княжна, примолкнув, слушала...

– Вот *этого* я не понимаю, это правда! – вся заалев, сказала она Гундурову по окончании куплета. – И отошла к карточному столу.

– Ты очень хорошо пела, *Hélène*, – молвил, подойдя к ней, князь Ларион.

– *Merci, oncle*¹²! – она шутливо кивнула ему в знак благодарности.

– Нет, в самом деле... И знаешь, пела даже с каком-то особенным выражением, которого я и не подозревал в тебе, – прибавил он, видимо налаживая себя также на шуточный тон.

– А именно? – спросила Лина.

– Да ты будто действительно молилась о чем-то исцелении? – он засмеялся деланным смехом.

Что-то неуловимое пробежало у нее по лицу.

– У меня, слава Богу, никого больного нет! – сухо ответила она.

– Elle aurait bien dû prier le bon Dieu de vous guérir de votre antipathie pour Pétersbourg¹³! – отпустила неожиданно княгиня Аглая тоже в виде шутки.

Князь Ларион закусил язык, чтобы не ответить ей грубостью. У него было нехорошо, очень нехорошо на сердце...

Ольга в это время, пропев свой последний куплет и объявив кругом, что «на сегодня баста, петь больше не буду – и не просите!» – поманила рукою Ашанина:

– Владимир Петрович, пожалуйста!..

У Мауса и у Ранцова запрыгали искры в глазах... Они почти нежно глянули друг на друга ввиду этого нового для обоих их грозного соперника...

Бойкая барышня взглянула на них, в свою очередь, как бы спрашивая: «ну, чего вам еще нужно?...»

Они послушно отошли. Она уселась с Ашаниным около инструмента, на котором замечтавшийся Чижевский переводил из тона в тон мотив только что спетого ею романса... Он никак не мог решить в голове своей, *кто* ему больше нравится: княжна или эта соблазнительная певица?..

– Послушайте, – быстро заговорила Ольга, – вы, я знаю, очень *тонкий* человек; вы можете мне дать совет. Я, вот видите, совсем, кажется, поссорилась с моим стариком...

Ашанин не отвечал и только жадно глядел на нее.

– Не смотрите на меня так! – она нетерпеливо отвернула свое лицо от него. – Я вам о деле говорю...

– Не могу! – прошептал он через силу.

– После, после! – невольно засмеялась барышня. – А теперь вы мне скажите, как мне быть: я, кажется, оскорбила его...

Она передала Ашанину разговор свой с князем Ларионом, намек на его «петергофскую» привязанность, его едкий ответ ей... О том, что побудило ее к этому намеку, *кого* она первоначально имела в виду, делая его, она не сообщила. Она боялась сделать новую неосторожность... В сущности, она сама не знала, к чему передавала все это Ашанину и какого «совета» могла ждать от него; но она тревожилась и чувствовала потребность высказаться перед кем-нибудь...

– Сердится, пересердится, – и сердиться-то будет недолго, – смеясь отвечал на ее торопливые речи Ашанин, – какой гнев устоит перед этими глазами!..

– Нет, – перебила его Ольга Елпидифоровна, – он обо мне не думает... Я теперь знаю! – утвердительно кивнула она, как бы желая сказать, что это вопрос вне спора...

– Если так, то вам еще менее причин беспокоиться, – заметил молодой человек.

– Я не о себе... и какое мне до него дело! – с горячим взрывом досады возразила она. – Но он может повредить моему отцу...

– Полноте! – Ашанин пожал плечами. – Он слишком порядочный человек для этого.

– Да, вы думаете? – быстро проговорила Ольга. – Я сама думаю... он не способен на гадость... Боже мой, как это все унижительно! – вырвалось у нее вдруг.

Красавец, в свою очередь, вопросительно на нее взглянул.

– Да, – продолжала она, высказывая громко все, что в эту минуту неудержимо всплывало у нее со дна души, – быть *дочь исправника*, от всех зависеть, от всех искать... этого я переносить не могу!.. Я не для этого рождена... Да, не для этого! Я рождена для блеска, – она чуть не

плакала, – мне надобно une position¹⁴... О, дайте мне только быть *знатною*!.. Взгляните на эту Лину... она княжна, за нею полмиллиона приданного. К чему ей все это? Она тяготится своим богатством, если бы не княгиня, она бы каждый день ходила в одном и том же платье; посмотрите на ее комнату – точно келья в монастыре!.. А я!.. Для чего же ей *все*, а мне ничего? Отчего эти несправедливости?.. О, если бы мне только половину, половину только, я знаю, *что* бы я сделала и чем была бы! – восклицала Ольга, сверкая глазами...

– И я знаю, – прервал ее страстным взрывом Ашанин, – знаю, что вы меня с ума сведете!..

– Перестаньте, пожалуйста, вы мною увлечены, – верю... все мною увлекаются. – Ольга засмеялась вдруг, – но вы сейчас сами, на балконе, говорили мне...

– Я говорил вздор! – горячо воскликнул он. – Я не слышал, как вы поете... я не знал вас!.. А теперь, – голос у него прервался, – теперь скажите слово, и я вас... завтра же... поведу к венцу!..

Она вскинула на него свои блестящие глаза и опустила их опять под огнем его взгляда... Самодовольная, почти счастливая улыбка заиграла на ее губах. Ашанин видел, как под прозрачную кисею заходила волной ее молодая грудь... Он ждал...

– Нет, – сказала она наконец, – вы мне не муж!..

Он чуть не вскрикнул...

– Нет, – повторила она и, еще раз подняв на него глаза, окутала его таким взглядом, что у него сердце запрыгало, – я бы вас слишком любила... а вы бы меня измучили! Ваша любовь на один час!..

– И час целый рай! – вскрикнул Ашанин.

Она закачала головой и, полувздохнув, полуулыбнувшись:

– Нет, и я для вас не *подходящая*... слишком *дорогая* была бы для вас жена... Вы, кажется, не богаты?..

Он, забывшись, схватил ее за руку:

– Но это невозможно! Так между нами не может кончиться!

Ольга тихо отдернула из руки его свою...

– Я и не говорю... чтоб это кончилось, – проговорила она как бы бессознательно, и горячею краскою покрылось все ее лицо, – но об этом после... после!.. *Она* нас увидит! – кивнула она по направлению двери, откуда выходила Надежда Федоровна с пачкою писем и газет, только что привезенных из города...

В этот вечер Софья Ивановна уехала из Сицкого в таком состоянии духа, в каком себя еще никогда не помнила. Она не знала, чего хотела, чего в данном положении вещей следовало ей желать, что должна была она теперь делать или не делать... Нрав у нее был не менее пылок, чем у ее племянника. Одаренная силою для сопротивления, она была бессильна против обольщения чувства. Она была бессильна – и сознавала это – против обаяния Лины... «Она *его* любит или близка к тому! – говорила она себе и с ужасом спрашивала себя. – А потом что же – что ждет *их*?..» Но оторвать *его* от *нее* она была не в состоянии... Нервы были у нее возбуждены до крайности; прощаясь в передней с Сергеем, при всех, она призвала на помощь всю власть свою над собою, чтобы не разразиться слезами, и только шепнула ему на ухо: «Да храни тебя Царица Небесная!»... Но едва отъехали от крыльца ее лошади, она прижалась к углу приподнятого фаэтона и зарыдала... С Ашанина перед отъездом взято было ею слово внимательно наблюдать за приятелем и «в случае малейшей важности» тотчас же известить ее в Сашино или, еще лучше, «урваться и приехать самому, хотя бы ночью»... Себе она обещала, «если Бог благословит *их* на добрый конец», сходить пешком из Сашина к Троице – полтора верст...

XXIII

*¹Die Engel, die nennen es Himmelsfreud,
Die Teufel, die nennen es Höllenleid,
Die Menschen, die nennen es Liebe!*
Heine⁻¹.

Мучительные дни настали для князя Лариона. Он угадывал, он чуял встревоженным чутьем, что племянница его, Лина, *уходит* от него. Между им и ею что-то внезапно стало невидимую, но неодолимую стеною, – и в то же время, говорило ему это чутье, между ею и тем молодым человеком, которого он, ввиду грядущих случайностей, удалял из Сицкого, что-то уже спелось и пело на душе каждого из них несомненным и, может быть, – он содрогался при этой мысли – уже неразрывным созвучием... И тем сильнее сказывалось ему это *что-то*, чем неуловимее, неосознательнее были его признаки... Лина казалась еще холоднее, еще сдержаннее, чем прежде. С Гундуrowым она говорила не более – менее, быть может, чем с другими; спокойные глаза ее так же безмятежно, казалось, останавливались на нем, как на Ольге, на Ашанине... на Шигареve... Но князь Ларион с глубокой тоскою замечал, что она избегала *его* глаз... избегала разговоров с *ним*. Давно уже, с самого возвращения в Россию, перестали они быть неразлучными; давно должен он был отказаться от тех долгих, дружных, блаженных для него бесед, что вели они в Ницце, сидя вдвоем на камне у морского берега... Но до сих пор все же урывались на дню хотя несколько мгновений, когда они оставались наедине, когда светлая душа ее раскрывалась перед ним с прежним доверием и нежностью... Теперь она закрывалась для него – она *уходила*, уходила... И он уже не смел спросить, не смел более допытываться. Он знал ее, эту чуткую и гордую душу; он *тогда*, тем намеком на выразительность ее пения – а тогда он не в силах был сдержаться, – нанес себе сам неисцелимый удар: в ответе ее он прочел надолго, навсегда, быть может, конец всему *прежнему*. Теперь она укутывалась в свою холодность и безмолвие, как то растение, что боязливо сжимает лепестки свои при отдаленном шуме идущей непогоды. Ему не было уже там места, и другой... другой... Кто он, зачем, какими обольщениями, в силу какого права завладеет он ею? Беспощадные змеи немощной старческой ревности сосали сердце князя Лариона... И он должен был молчать, таиться, не замечать... А он все видел, все угадывал!.. Он видел, когда на сцене Гундуrow читал свои монологи, как каждый раз поникала взором Лина, чтобы никто не мог прочесть того, что сказали бы, может быть, ее глаза, – как одному его неотступному взору заметным трепетом вздрагивали ее плечи от горячего взрыва, от иного, вырывавшегося у *Гамлета* слова... Он бледнел каждый раз от выражения их голосов, когда в первой сцене своей с *Офелией* Гундуrow говорил ей: «я любил тебя когда-то», а она ему отвечала: «я верила этому, принц!» – Неправда! – готов он был бешено крикнуть им, – твой голос говорит ей: я *люблю* тебя, а ее: я тебе *верю*; вы по-своему передаете Шекспира... А он улыбался, и ободрял, и искал случая к поправке, к замечанию, чтобы хотя на мгновение остановились на нем эти теперь немые для него глаза...

Он страдал невыносимо – а все сидел тут, на репетициях, глотая капля за каплею из этого отравленного кубка... «Он уедет, – инде прорывались у него лучи надежды, – через две недели отойдет это проклятое представление... а затем *ему* дадут понять... И сама Лина, – она знает, что мать ее никогда не согласится, – она поймет»... Но разве он, князь Ларион Шастунов, то же, что ее мать! – подымалась у него на душе прежняя буря, – разве у него с нею те же побуждения, те же чувства к *ней*, к Лине. Он уедет, этот молодой человек, все равно, – нет, еще хуже – он унесет с собою *ее* душу... Князь Ларион знал ее: она не забудет *его*, как не забыла отца, и, подчиняясь материнской воле, с памятью о князе Михаиле будет хранить память о *нем* до самого гроба!.. Легче ли от того будет ему, князю Лариону?..

«Театрик» между тем шел вперед и вперед. То, что на языке сцены называется *ансамблем*, уже достаточно обрисовывалось – и обрисовывалось удачно: исполнению драмы можно было заранее предсказать несомненный успех. Роли уже все были разучены, участвовавшие относились к делу своему с добросовестностью и прилежанием, редко встречаемыми между любителями... Но ведь к чему они и приступали, за что брались, сказывалось невольно в сознании каждого из них. Шекспир, «Гамлет», – «каждый торговец в *городе*», как справедливо говорил Вальковский, знал эти имена тогда и валил за толпою в театр, прочтя их на афише, – это были в те дни такие веские, обаятельные, царственные имена!.. Сам храбрый капитан Ранцов, в продолжение всей своей жизни, кроме *устава о пехотной службе* и «Таинственного монаха» Рафаила Зотова², ничего не читавший, бредил теперь с утра до ночи своею ролью *Тени* и обещал режиссеру золотую цепочку к часам, если он его «на настоящую актерскую точку поставит». По счастливой случайности роли приходились по вкусу и по способности почти каждого из актеров. Княжна была идеальная *Офелия*. В игре Гундунова с каждым днем все шире и глубже выяснялся изображавшийся им характер, с каждой пробой становился он все сдержаннее, нервнее, – *инсистивнее*³, как выражался князь Ларион... *Полоний-Акулин* был превосходен. Чижевский был сам *Лаэрт*, пылкий, ловкий, блестящий, и каждый раз вызывал рукоплескания товарищей, когда в сцене *возмущения* вбегал, требуя «кровавой мести за смерть отца», и звенящим, как натянутая струна, голосом восклицал:

... Оба мира
Зову на бой, – и будь со мной что будет!..

Надежда Федоровна, *Гертруда*, не портила, хотя несколько мямлила и с непривычки не знала, куда девать руки. В знаменитой сцене с сыном она была холодна и холодила Гундунова, что приводило его в отчаянье. «Погоди, – утешал его Ашанин, – я вот ее в самый день представления самым жестоким образом разогорчу, и она будет тебе ныть от начала и до конца роли»... Он и не предчувствовал, как пророчески должно сбыться его обещание!..

Зяблин в роли *Клавдио* был почти хорош. Его печоринские взгляды из-под низу, *сдобный* голос и изнеженные приемы при разбойничьем лице довольно близко подходили под тип того лицемерного сластолюбца, игрока и бражника, «благочестивым видом сумевшего обсахарить скрытого в нем дьявола», каким Шекспир изобразил *Гамлетова* отчима. Но этого сахара перепускал он подчас уже столько, что «фанатик» Вальковский не выдержал однажды и крикнул ему из кулисы: «Да что вы, батюшка, *злодея* играете или патоку сосете?» – на что Зяблин только уныло плечами повел и глянул на бывшую тут княгиню, а она, в свою очередь, обиженно вздохнула, глянула на князя Лариона и проговорила, раздув ноздри: «Ne remarquez vous pas, Larion, que ce monsieur est très mal élevé⁴?»... Сам «фанатик» в «*молодой роли*» *Розенкранца* был невыразимо смешон и потешал Ашанина до истерики: он сжимал губы сердечком, щурил глаза, подбочивался фертом и напускал удал и молодечества там, где ни по характеру лица, которое он играл, ни по смыслу положения и тени не требовалось чего-либо подобного. «Эко чучело, эка безобразина!» – хохотал Ашанин после каждого выхода его на сцену. Вальковский не смущался. «Погоди, брат, – отвечал он ему с торжествующей улыбкой, – придет Василий Тимофеев, он меня не хуже тебя красавцем распишет!» Василий Тимофеев был театральный парикмахер, большой искусник своего ремесла и закадычный друг Вальковского, возлагавшего на него на время своих отсутствий по театрикам все свои дела, – а в том числе и надзор за «Маргоренькой», ужасно рябою и столь же легковерною швеей, которую «фанатик» готовил на сцену, на роли светских кокоток...

Известно, что ничто так скоро и коротко не сближает молодежь, как любительские спектакли. Короткости между нашими актерами содействовало еще и это их совместное житье

в Сицком, в богатом, привольном доме, где каждому предоставлялось брать на свою долю настолько удовольствия, насколько хватало у него на это сил и желания. Княгиня Аглая, в подражание своим английским образцам, предоставляла гостям своим полную свободу: они целым обществом, дамы и мужчины, катались верхами, удили рыбу, ездили по вечерам в дальние прогулки, в которых не всегда принимал участие князь Ларион, а сама хозяйка никогда. Ленивая и отяжелевшая, она почти не выходила из своего будуара, где с утра до вечера пила чай в компании неизбежного Зяблина и куда, разумеется, никому не приходила охота идти ее тревожить. Только по утрам Лина являлась с «bonjour, maman», целовала ей ручку – и почти тотчас же уходила. Мать почти никогда не говорила с ней, не потому, чтобы имела какие-нибудь причины недовольства ею, а просто потому, что не находила предметов разговора с дочерью.

⁵ «Elle est trop sérieuse, – поверила она «бриганту», вздыхая и томно улыбаясь, – elle n'a pas d'enjouement dans le caractère, comme moi⁵!» Потом приходил князек, сын ее, разодетый как на картинке, с mister Knocks'ом, который ни на каком, кроме английского, языке не говорил и которого она, и с воспитанником его, отпускала так же очень скоро, потому что никак не могла сказать ему того, что хотела, – да Ольга Елпидифоровна по несколько раз в день забегала к ней под разными предлогами, теща ее своими *жантильесами*⁶. Смышленная барышня, отчаявшись вернуть расположение князя Лариона, – он вовсе перестал даже говорить с нею, – заискивала и юлила теперь перед княгиней более, чем когда-нибудь... В то же время она всячески набивалась в наперсницы к «другу своему, Лине», и хотя это ей очень мало удавалось, – княжна, как она ни билась, не делала ей никаких *конфидансов*¹, — она сама от себя, из злости к «противному старикашке», употребляла всякие усилия и средства, чтобы «сблизжать» Лину с Гундуровым: старалась находить случаи, когда б они могли быть подолее вместе; искусно отводила тех, которые могли бы помешать их беседе, когда представлялись такие случаи; распоряжалась так, чтоб нашему герою непременно досталось место подле княжны на линейке, которая везла их в лес или на тоню⁸, на Оку... Княжна, по-видимому, не замечала этих услуг и даже большею частью не пользовалась теми «удобными» случаями, которые ловкая особа доставляла ей в возможном изобилии, – но не всегда же она от них уходила, не всегда же находила силу избегать их... Иногда, налету, глаза ее встречались с глазами Сергея, – с глазами, полными бесконечной мольбы, – и безвластно шла она занять подле него место в экипаже, и долго потом ехали они, молча и не смея уже более поднять глаз друг на друга. И что бы в эти минуты могли они друг другу сказать? За них говорила вся эта молодая природа, что цвела и пела вокруг них, окрапленная живительною влагой, озаренная солнцем весны: широкая даль речного разлива, сладкий шелест молодых дубов, соловей, урчавший в кусте дикой малины, мимо которого, когда на померкавшем небе загоралась первая звездочка, проезжали они на возвратном пути в усадьбу...

XXIV

Они ехали таким образом однажды рядом в большом обществе. Сидевший спиною к ним по другой стороне линейки Духонин, вдохновленный красотой вечера, читал немецкие стихи соседке своей, Надежде Федоровне:

– ¹Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Das Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilhen nickten sanft, —
Das war ein Traum¹. —

донеслось до слуха их.

– Это из Гейне... И прелестно! – молвил Гундуrow. Духонин продолжал:

– Es küsste mich auf deutsch, und sprach auf deutsch:
(Man glaubt es kaum
Wie schön es Klang) «ich liebe dich...»
Das war ein Traum!..

– Здесь... *в отечестве*, лучше! – проговорила вдруг Лина как бы про себя, как бы отвечая на какой-то свой собственный, не выговоренный вопрос.

У Гундуrow забилось сердце – он вспомнил тот первый их разговор, – это был теперь для него ответ на то, до чего еще бессознательно допытывался он тогда...

– *Лучше*, Елена Михайловна? – повторил он, стараясь заглянуть ей в лицо. – *Лучше?*..

Но она не отвечала его взгляду. Ее синие, задумчивые глаза глядели вперед на бедное селение, на которое они держали путь; хилые очертания его почерневших соломенных крыш вырисовывались уже отчетливо из-за пригорка в багровых лучах заката...

– Да, – сказала она, не оборачиваясь и откидывая вуаль, которую ветер прижимал к ее лицу, – там, в Германии, в Европе, – все так узко... Покойный папа говорил: там перегородки везде поставлены... А здесь... Здесь каким-то безбрежьем пахнет...

– У вас удивительные свои выражения, княжна! – воскликнул Гундуrow.

Она опять улыбнулась, все так же продолжая не глядеть на него.

– Я знаю, я очень нехорошо говорю по-русски; я совсем еще по-писанному говорю... Но с вами – голос ее чуточку дрогнул, – я не могу говорить не по-русски...

– Вы удивительное существо, Елена Михайловна! – с юношеским восторгом заговорил Сергей. – Вы, воспитанная на Западе, в чужеземных обычаях и понятиях, вы каким-то чудным внутренним чутьем проникаете в самую глубину, в самую суть предмета... Да, в Россию надо *верить*²! Там все сказано, все отмерено, везде столбы и «перегородки» поставлены, и народы доживают, задыхаясь, в путах бездушной, тесной, материальной, переживающей себя цивилизации... Наше будущее «безбрежно» – как это вы прекрасно сказали! – как и наша природа. Нам, славянскому миру, суждено сказать то последнее слово вечной правды и любви, на какое уже неспособен дух гордыни и себялюбия западного человечества...

– А пока, – засмеялся вдруг Духонин, прислушивавшийся со своего места к их разговору, – а пока, любезный друг, соберемся мы сказать это слово, мы, как оказывается, и самовара-то нашего выдумать не умели, и «народы» наши (он повел при этом рукою на жалкую деревушку, мимо которой проезжали они) живут чуть ли не беспомощнее и плачевнее, чем это «западное человечество» в пору каменного века.

Гундуrow досадливо обернулся к нему:

– Не среди мраморных палат царственного Рима, – молвил он с сияющими глазами, – не мудрецами, веровавшими в его вечность, найдена была та божественная истина³, что должна была спасти и обновить погибающий мир: возглашена была устами нищих рыбаков далекой страны, которую точно так же за бедность ее и невежество презирали кичившиеся богатством своим и культурой избранные счастливицы того века!

Духонин несколько опешил перед этим неожиданным, горячим доводом.

– «Блажен, кто верует, тепло ему на свете»⁴, – молвил он с натянутой усмешкой.

Лина, в свою очередь, обернулась к нему.

– В этом, кажется, все и есть, – промолвила она застенчиво.

– В чем это, княжна?

– В том... чтоб *верить*.

Он засмеялся и развел руками.

– Действительно, нам только это и остается, потому что иначе я бы мог, в pendant⁵ к не очень смиренному, сказать кстати, пророчествованию друга моего Гундунова о нашем великом будущем привести то, что говорят про нас на этом «погибающем и изживающем», по его мнению, Западе: «fruit pourri avant d'être mur»⁶.

– Да, я это слышала, – тихо сказала Лина, между тем как Сергей опускал глаза, чтоб не выдать того чувства восторга и счастья, которыми исполняло его ее видимое единомыслие с ним, – но те, которые это про нас говорят теперь, ведь у них было тоже свое прошлое, и не всегда хорошо было в этом прошлом: были войны, и разорение, и невежество, и рабство, как у нас. Но, сколько я знаю, ни один из этих народов не отчаивался в своем будущем, а шел вперед, надеясь и веря, что со временем станет все лучше и лучше...

– Конечно, – быстро возразил Духонин, – потому что каждый из них чувствовал в себе серьезные жизненные задатки для такого будущего.

Она как бы с невольным упреком покачала головой.

– А у нас их нет? И мы в самом деле «fruit pourri», прежде чем еще созрели? Но тогда нам остается только отказаться от самих себя и отдаться в руки первому, кто захочет взять нас и переделать на свой лад...

– Отлично, Елена Михайловна, отлично! – воскликнул Гундунов. – Ну-ка, Духонин, кому будет вам угодно поднести нас: немцам, шведам, католической Польше или всем уж им разом, на дележ?

– Вывод ваш, однако, княжна; я прошу вывода! – сказал на это, засмеявшись, московский западник.

Лина заалела, заметив, что все на линейке примолкли, прислушиваясь к ее словам.

– Все то же, что я уже сказала, – промолвила она, опуская глаза, – Россия, мне кажется, может ждать великого будущего только от тех, кто будет твердо верить в нее, а не отчаиваться в ней.

– Кладу пред вами оружие, княжна, – сказал Духонин полусерьезно, полушутя, – против этого аргумента возражения сейчас не придумаешь.

Сергей ничего не сказал, но он едва удержался, чтобы не соскочить с линейки и тут же на ходу припасть к ее ногам...

Долго еще потом звенело волшебным звуком в его ухе каждое из сказанных ею слов в этом разговоре, и повторил он их с сладостным замиранием сердца.

«Она чувствует по-русски, а мыслит по-европейски», – определял он себе Лину в те редкие часы, когда сам он был в состоянии *думать* о ней, а не *чувствовать* ее, – таких еще у нас долго не будет женщин... да и не одних женщин... Он был прав: тщательное, под руководством просвещенного отца, воспитание за границей, серьезное чтение, постоянное общение с высокообразованными умами, находившимися в близких сношениях с князем Михайлой, – все это сказывалось в ней чем-то не легко выражающимся словами, но проникавшим ее всю, как запах иных, отборных духов, чем-то невыразимо тонким, нежным, идеальным в помыслах ее, в речи, в каждом из ее движений. В ней угадывалось – именно *угадывалось* — присутствие той высшей культуры ума и сердца, что так мало походит на казовую русскую образованность, на русское воспитание *спустя рукава*, скользящие по поверхности предметов и явлений и не умеющие сладить ни с каким делом и ни с каким чувством. И именно потому, может быть, что в ней так мало было русского воспитания, чувствовала себя так *русскою* Лина; потому именно, что не скользила она по поверхности вещей, а привыкла смолodu вдумываться в них, ей было так «узко в Германии...», и полюбить могла она только сына этой ее бедной, темной – и с юных лет неотразимо манившей ее к себе своим «безбрежьем» – родины...

XXV

Утром 20-го числа, только что после первого завтрака, исправник Акулин, еще накануне вечером уехавший встречать графа, подскочил на взмыленной тройке к широкому крыльцу Сицкого. – Едут, едут! – прытко выкидывая из телеги свое грузное тело, кричал он сдавленным, будто только что сорвался с веревки, голосом слугам, выбежавшим в сени на топот его лошадей, – князю доложите, княгине... сейчас придут... вот и коляска их видна...

Из-под *льва* действительно выезжала и мчалась к дому четверня под *коляской графа*.

Предуведомленный князь Ларион вышел ему навстречу...

Тот, которого в то время коротко и многозначительно в пределах Москвы белокаменной и на всем пространстве кругом просто называли «графом», был лет шестидесяти с чем-то генерал, несколько тучноватый, безусый – по форме александровского времени, которой он не хотел изменить и в новое царствование, – и лысый, по выражению Ольги Елпидифоровны, как арбуз. Эта совершенно голая голова с тремя подвитыми вверх волосиками на самом затылке, отвислыми как рыбы жабры щеками, небольшими глазками и выступавшею добродушно вперед нижнюю губу давала ему совершенно вид старого китайца; но в общем выражении его облика было то что-то *свое*, самостоятельное и достойное, чем александровские люди заметно отличались от удачливых *служак* той эпохи, к которой относится наш рассказ. *Граф* был то, что называется *сын своих дел*: бедный армейский офицер, воспитанный, как сам любил говорить, «на медную полушку», он счастливою случайностью выдвинут был весьма рано вперед и еще в пору Отечественной войны считался дельцом. Сорока с небольшим лет от роду он был уже большой человек в служебной иерархии, богато женат, получил графский титул... Но в годы аракчеевской силы он один из весьма немногих имел мужество не *кланяться* временщику, в буквальном значении этого слова, – а чрез несколько лет затем с министерского поста вышел в чистую отставку вследствие того, что одно из его представлений не получило чаемого утверждения. О мелком своем происхождении и первоначальной бедности он говорил всегда с какою-то особенною гордостью, а тому, первому своему, давно умершему начальнику, который вывел его из темных рядов армии, он в любимом своем имении, под окнами своего кабинета, поставил в саду бронзовый памятник с надписью: «моему благодетелю».

Таков был человек, который, пробыв в отставке целых 18 лет, призван был снова затем на высокую должность, которою он правил теперь, – и правил, как правили в те блаженные времена, – с произволом трехбунчужного паши и с мудрою простотою Санхо-Пансы на острове Баратарии¹.

Он вылез из коляски вслед за выскочившим вперед чиновником, сопровождавшим его, и принялся лобызаться с князем Ларионом.

– Здравствуй, очень рад тебя видеть, – он говорил короткими, словно остриженными фразами, с полным отсутствием всяких вводных и придаточных предложений, – нарочно заехал, потолковать надо! Места все знакомые, – он глянул кругом, – в одиннадцатом году были у твоего старика с графом Барклаем²; тогда он князем не был. Что княгиня? – спрашивал он, подымаясь на лестницу.

Все это говорилось, точно он акафист читал, подряд, безо всякого повышения иди понижения голоса, причем его китайское лицо сияло добродушнейшею и самодовольнейшею улыбкою.

– Она вас ждет, – отвечал князь, – но прежде всего вопрос: не хотите ли позавтракать?

Тот приостановился на ступеньке и приподнял обе руки ладонями кверху.

– Не хочу. Никогда не завтракаю. Что племянница?

– Слава Богу!

– Милое дитя! – тем же акафистом пропел *граф*.

– Cher comte, soyez le bienvenu chez moi³, – заголосила княгиня, встречая его в первой гостиной, где висел *«portrait d'ancêtres»* – но, вспомнив, что «cher comte» ни слова не понимал ни на каком иностранном языке, предложила ему завтракать по-русски.

Он опять поднял обе ладони кверху и опять повторил то же.

– Не хочу, никогда не завтракаю! А, милое дитя! – и он пошел навстречу входившей в гостиную княжны. – Как ваше здоровье?

Лина присела; он пожал ее тонкие руки своими обеими, пухлыми, как у попа в богатом приходе, руками.

– И шалунья тут же? – пропел он опять, узнавая Ольгу Елпидифоровну, вышедшую вслед за княжной. – Когда опять в Москву? А отцу сказали, что я поручил?

– Сказала, – прошептала барышня и тут же глянула ему в глаза своим забирающим взглядом.

Он умильно улыбнулся и погрозил ей пальцем.

– Шалунья!.. Шажков! – кликнул он через спину приехавшего с ним чиновника, – исправника!

Толстый Елпидифор стоял в ожидании в передней, крестя себя по животу и шепча от времени до времени: «Пронеси, Господи!..»

Он как бомба влетел по зову в гостиную и вытянулся в дверях, будто аршин проглотил.

– Исправник, – запел *граф*, – говорила тебе дочь, что я поручил?

– Точно так, ваше сиятельство! – еле слышно прошептал он сквозь засохшее от страха горло.

– Помни! Будешь играть – прогоню вон! А шалунью в Москву – петь!.. говорят, голос хорош! – Он погрозил опять бойкой барышне, стараясь как можно лукавее глянуть, в свою очередь, в ее искрившиеся глаза.

– Monsieur Акулин прекрасно на сцене играет! – отрекомендовала его княгиня Аглая, на которую исправник глядел умоляющими глазами.

– Актер? Это хорошо! Графиня (он назвал по имени жену свою), – очень любит театр. Что играете?

– «Гамлета», ваше сиятельство! – прохрипел Елпидифор.

– Не знаю! – и *граф* приподнял свой ладони.

– C'est sérieux! – объяснила Аглая. – Но они еще играют одно такое смешное...

– «Льва Гурыча Синичкина», ваше сиятельство!

– А! – вспомнил он и ткнул пальцем по направлению исправника. – Живокини⁴ еще играет?

– Точно так, ваше-с... – чуть не заржал в ответ на милостивый вопрос ошарашенный Елпидифор.

– Хороший актер! – поощрительно отозвалось его сиятельство. – Смешит меня!..

– Не пройдем ли мы ко мне? – предложил князь Ларион, все время морщившийся от этого разговора.

– Пойдем, поговорить надо!.. Шалунья! – Он еще раз погрозился пальцем барышне и отправился, сопровождаемый князем, в его покои.

Шажкова – это был особый тип московского чиновника, служащего из-за «крестишек», нечто среднее между Фамусовым и Молчалиным, крепышок на петушьих ногах и при петушьей надменности, – Шажкова увели кормить...

XXVI

– Я твое письмо отослал, как есть, – говорил *граф* в библиотеке, усевшись в самую спинку большого вольтеровского кресла и уложив локти по его ручкам, а ножки свои сдвинув крест-накрест; он очень походил в этом положении на индийского бога Вишну.

– И апробуете? – спросил князь Ларион.

– Что же, написал по совести – апробую!

– Я не приму никакого места, связанного с какими-либо полицейскими обязанностями...

Не потому, чтобы я отрицал пользу полиции; хорошая полиция при нашем невежестве – все... или почти, и долго еще будет *все*, – слегка вздохнул князь, – только я на нее не способен... Слишком хорош или слишком дурен, как хотите... – Он усмехнулся.

– Без полиции нельзя! – пропел *граф*.

– Да, но и она мертвое орудие у них в руках... Поглядите, что делается кругом: воровство, неправосудие, отсутствие ума везде... Вот за чем смотреть, что карать, о чем печалиться!.. А они науки боятся и образованных людей преследуют!.. Припомните мое слово, – с какою-то невольною торжественностью возвысил голос князь Ларион, – здоровую мысль они теперь в подземную трубу гонят; в следующем поколении она у них оттуда или взрывом, или гнильем выйдет!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.